



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

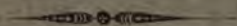
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG
3356
N4

ВЛАДИМІРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ НИКОЛЬСКІЙ.

ИДЕАЛЫ ПУШКИНА.



1375

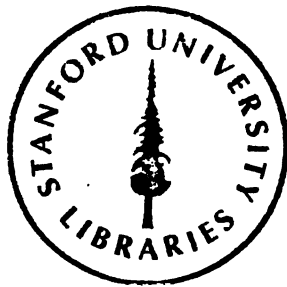
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, д. № 39).

1887.

50.11.1

100070



1

Август. Умер Саша
5. Марс
Н.
Nikol'skii, V.V.
ВЛАДИМИРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ НИКОЛЬСКІЙ.

1375/80

ИДЕАЛЫ ПУШКИНА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, д. № 39).
1887.

К

PG 3356

N4

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 19 Января 1887 г.

ИДЕАЛЫ ПУШКИНА.

Рѣчь объ идеалахъ Пушкина была произнесена В. В. Никольскимъ на торжественномъ актѣ въ С.-Петербургской Духовной Академіи въ 1881 году и затѣмъ напечатана въ № 3 — 4 журнала «Христіанское Чтеніе» 1882 г.

Авторъ перепечатаваемой здѣсь статьи, покойный профессоръ Императорскаго Александровскаго Лицея, С.-Петербургской Духовной Академіи и Женскихъ Педагогическихъ Курсовъ, В. В. Никольскій, былъ горячимъ поклонникомъ и глубокимъ знатокомъ Пушкина; но многочисленныя занятія позволяли ему лишь изрѣдка дѣлиться съ обществомъ результатами своихъ изслѣдованій.

За годъ до своей смерти (15-го марта 1883 г.) онъ задумалъ основать Пушкинское общество, по образцу заграничныхъ Шекспировскихъ обществъ; но съ тяжелой болѣзью, постигшей Владиміра Васильевича, которая и свела его въ могилу, распалось образованное было имъ ядро Пушкинскаго общества.

Въ бумагахъ покойнаго профессора найдены различные черновые матеріалы, касающіеся Пушкина и его эпохи. Въ числѣ этихъ матеріаловъ обращаетъ на себя вниманіе набросокъ изслѣдованія о Мѣдномъ Всадникѣ, устанавливающій совершенно новую точку зрѣнія на это замѣчательное произведеніе великаго поэта.

Смерть застигла Владиміра Васильевича за новой біографической работой о Пушкинѣ, для которой онъ изучалъ переписку поэта.

Энергичному почину и неутомимой дѣятельности В. В. Никольскаго обязана своимъ существованіемъ прекрасная Пушкинская бібліотека, собранная Императорскимъ Александровскимъ Лицеємъ.



ИДЕАЛЫ ПУШКИНА.

Скоро исполнится пятьдесятъ лѣтъ со смерти Пушкина ¹⁾. Слава, такъ шумно встрѣтившая его при самомъ первомъ появленіи на литературномъ поприщѣ, утвердилась и возросла до небывалыхъ въ Россіи размѣровъ. Московскія торжества 1880 года, при открытіи памятника Пушкину, показали, какъ глубоко проникли въ общественное сознание уваженіе и любовь къ великому народному поэту. Если о зрѣлости народа можно судить по его уваженію къ своимъ историческимъ дѣятелямъ, то, конечно, пушкинскіе дни въ Москвѣ свидѣтельствовали о великихъ успѣхахъ нашего самосознанія. Но если взглянуть на то же самое событіе съ спокойной и безпристрастной точки зрѣнія, то оно представится уже не въ столь радужныхъ краскахъ. Прежде всего нельзя не замѣтить, что какъ ни много было говорено и писано о Пушкинѣ въ это время, однако же все сказанное и написанное служило гораздо болѣе выраженіемъ восторженнаго чувства, нежели ясной и опредѣленной мысли. Такое настроеніе объясняется отчасти самымъ характеромъ празднества, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно свидѣтельствуетъ и о томъ, что въ обществѣ, очевидно, еще не выработалось и не установилось такого понятія о Пушкинѣ, которое бы само собою высказалось какъ общесознанное убѣжденіе. И если мы оглянемся назадъ въ исторію нашей литературы, то должны будемъ сознаться, что для изученія Пуш-

¹⁾ 29 января 1887 года.

кина у насъ сдѣлано слишкомъ мало, если только что нибудь сдѣлано. Конечно, внѣшнія обстоятельства имѣли при этомъ немаловажное значеніе. Хотя въ настоящее время въ печати появилось почти все, что написано Пушкинымъ, за исключеніемъ двухъ трехъ произведеній, появленіе которыхъ было бы и нежелательно, но несомнѣнно, что въ черновыхъ рукописяхъ поэта еще таятся матеріалы, важные для его характеристики и оцѣнки. Біографическія свѣдѣнія только въ послѣднее время достигли такой полноты, при которой сдѣлался возможнымъ послѣдовательный и связный очеркъ его жизни, но и здѣсь еще остаются чувствительные пробѣлы и темныя мѣста. При всемъ томъ мы не видимъ даже и попытокъ уяснить содержаніе поэзіи Пушкина, опредѣлить ея характеръ, направленіе и значеніе. Одна только сторона разъяснена съ исчерпывающею полнотою—сторона художественная или эстетическая. И это совершенно понятно: художественное достоинство произведеній Пушкина составляетъ такой яркій, выдающійся ихъ признакъ, что, конечно, именно съ этой стороны Пушкинъ прежде всего и могъ, и долженъ былъ быть принятъ и понятъ. Но эстетическое изученіе не можетъ быть полно уже по самой своей односторонности. Если, благодаря живой прелести стиховъ Пушкина ¹⁾, они стали дѣйствительно знакомы каждому грамотному русскому, то нельзя не спросить съ другой стороны, какое же содержаніе, какія понятія, стремленія и чувства вносятъ эти стихи въ общее сознаніе? Ограничивая воспитательное значеніе Пушкина только одной художественной стороной, придемъ неизбежно къ отрицанію всякаго другого значенія Пушкина, какъ мы и видѣли тому примѣръ въ нашей литературѣ ²⁾. Къ тому же самое признаніе Пушкина народнымъ поэтомъ, а это признаніе уже утвердилось въ общемъ мнѣніи, не позволить ограничиться эстетическимъ опре-

¹⁾ Выраженіе Жуковского въ стихотвореніи Пушкина: Памятникъ.

²⁾ Мы разумѣемъ статьи Писарева. При всей несправедливости ихъ по отношенію къ Пушкину онѣ имѣли однако же то значеніе, что обнаружили противорѣчія и несостоятельность эстетическаго воззрѣнія и показали дальнѣйшую невозможность смотрѣть на Пушкина глазами Бѣлинскаго.

дѣленіемъ, потому что нельзя же художественность счесть отличительнымъ признакомъ нашей народности. Напротивъ, самый этотъ признакъ народности заставляетъ предполагать извѣстную сумму идей, свойственныхъ русскому народу и отличающихъ его, какъ историческую личность, отъ всѣхъ другихъ народовъ. Намъ кажется, наступило время собрать въ одинъ цѣльный образъ разбросанныя черты пушкинскаго міросозерцанія и сдѣлать попытку, на первый разъ можетъ быть и не вполне счастливую, опредѣлить идеальное содержаніе поэзіи Пушкина.

Ставя своею задачею уяснить идеалы Пушкина на основаніи его произведеній, мы предварительно должны показать, въ какомъ отношеніи находились созданія Пушкина къ его личности? Были ли они только игрою его поэтической фантазіи, произведеніями художественнаго генія, не выражавшими никакихъ личныхъ убѣжденій поэта, какъ полагала эстетическая критика, или же, напротивъ того, они были выраженіемъ личной жизни автора, чувствъ, дѣйствительно имъ пережитыхъ, мыслей, дѣйствительно имъ передуманныхъ? Въ послѣднемъ случаѣ, который мы, конечно, единственно и принимаемъ, прежде чѣмъ перейти къ изображенію идеаловъ поэта, намъ необходимо предварительно разсмотрѣть, въ чемъ состояла особенность поэтическаго дарованія Пушкина, и какимъ образомъ это дарованіе относилось къ событіямъ дѣйствительной его жизни. Драгоцѣнные, хотя все еще далеко не полные, матеріалы г. Анненкова ¹⁾ даютъ возможность рѣшить этотъ вопросъ безъ особаго затрудненія.

¹⁾ А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи и оцѣнки произведеній П. В. Анненкова. Спб. 1873. Сначала были помѣщены въ I томѣ сочиненій Пушкина, изд. Анненкова, но безъ раздѣленія на главы. Второе сочиненіе г. Анненкова: А. С. Пушкинъ въ александровскую эпоху (1799—1826 гг.) представляетъ опытъ болѣе связнаго изложенія біографіи Пушкина въ указанныхъ предѣлахъ. Не смотря на запутанность и темноту изложенія, иногда умышленную, сочиненія г. Анненкова составляютъ единственные книги въ нашей литературѣ, по которымъ можно изучать Пушкина. Матеріалы, публикуемые въ «Русскомъ Архивѣ» г. Бартевымъ, драгоцѣнны сами по себѣ, но отсутствіе описанія рукописей, изъ которыхъ они заимствуются, совер-

«Поэзія бываетъ исключительною страстью немногихъ родившихся поэтами. Она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни» (V, 29) ¹⁾. Эти слова Пушкина въ высшей мѣрѣ прилагаются къ нему самому. И чтобы понять всю ихъ силу, надо послушать, что говоритъ самъ Пушкинъ объ источникахъ и дѣйствіяхъ своей поэзіи. Наперсница волшебной старины, еще качая его дѣтскую колыбель, плѣнила его юный слухъ своими напѣвами,

И межъ пеленъ оставила свирѣль,
Которую сама заворожила (I, 362).
Въ тѣ дни, когда въ садахъ Лицея
Я безмятежно расцвѣталъ,
Въ тѣ дни въ таинственныхъ долинахъ
Весной, при кликахъ лебединыхъ,
Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинѣ,
Являться Муза стала мнѣ.

Съ этихъ поръ она сопровождала его во всю жизнь: шла за нимъ на безумные пиры юности, скакала съ нимъ на конѣ по скаламъ Кавказа, водила по берегамъ Тавриды слушать шумъ морской,

Глубокій, вѣчный, хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ Отцу міровъ,

въ глуши Молдавіи печальной посѣщала смиренные шатры племенъ бродящихъ, въ его саду являлась барышней уѣздной, съ нимъ ходила на свѣтскій раутъ и наконецъ, послушная Божію велѣнію, поддерживала его въ послѣдніе дни его жизни. Не одни воспоминанія о вѣчно сопутствующей отъ колыбели до могилы Музѣ оставилъ намъ Пушкинъ; онъ описалъ намъ и ея бесѣды съ нимъ. Вотъ онъ въ лицейской кельѣ № 14:

Главою на руку склоненъ,
Въ забвеніи глубокомъ

шенный произволъ въ выборѣ публикуемыхъ отрывковъ безъ всякихъ признаковъ плана и системы дѣлаютъ невозможнымъ правильное пользование этими матеріалами.

¹⁾ Всѣ выдержки изъ сочиненій Пушкина мы приводимъ по изданію г. Ефремова 1880—81 гг. и потому ограничиваемся указаніями только на томъ и страницу.

Онъ въ сладки думы погруженъ
 На ложѣ одинокомъ;
 Съ волшебной ночи темнотой,
 При мѣсячномъ сіяньи,
 Слетаютъ рѣзвою толпой
 Крылатыя мечтанья.
 И тихій, тихій льется гласъ,
 Дрожатъ златыя струны,
 Въ глухой, безмолвный мрака часъ
 Поетъ мечтатель юный (I, 91).

Но наконецъ она заснула. Напрасно! и во снѣ онъ видитъ стихи:

Пускай Глицерія, красавица молодая...

снится ему. Что пускай? нѣтъ ни начала, ни конца... ничего!
 На утро онъ найдетъ и то и другое и создастъ стихотвореніе;
 Лицинію (I, 79), по силѣ стиха, по важности содержанія,
 строгой точности выраженія почти невѣроятное для пятнадцати-
 лѣтняго юноши. Онъ садится къ своей чернильницѣ:

Перо по книжкѣ бродить,
 Безъ всякаго труда
 Оно въ тебѣ находитъ
 Концы моихъ стиховъ
 И вѣрность выраженья;
 То звуковъ или словъ
 Нежданное стеченье,
 То ѣдкой шутки соль,
 То странность рѣмы новой
 Неслыханной дотоль (I, 367).

Вотъ какъ изображаетъ онъ свое творчество въ позднѣйшую эпоху:

Всѣ волновало нѣжный умъ:
 Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
 Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
 Старушки чудное преданье.
 Какой-то демонъ обладалъ
 Моими играми, досугомъ;
 За мной повсюду онъ леталъ,
 Мнѣ звуки дивныя шепталъ,

II тяжкимъ пламеннымъ недугомъ
 Была полна моя глава;
 Въ ней грезы чудныя рождались;
 Въ размѣры стройныя стекались
 Мои послушныя слова
 И звонкой рѣмой замыкались.
 Въ гармоніи соперникъ мой
 Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйный,
 Иль иволги напѣвъ живой,
 Иль ночью моря гулъ глухой,
 Иль шопотъ рѣчки тихоструйной (I, 459—60).

А вотъ еще картина изъ другого, болѣе поздняго времени:

И пробуждается поэзія во мнѣ:
 Душа стѣсняется лирическимъ волненіемъ,
 Трепещетъ и звучитъ, и ищетъ какъ во снѣ,
 Излиться наконецъ свободнымъ проявленіемъ—
 И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
 Знакомцы давніе, плоды мечты моей.
 И мысли въ головѣ волнуются въ отвѣгѣ,
 И рѣмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,
 И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,
 Минута—и стихи свободно потекутъ (II, 306).

Понятно, что при такой силѣ поэтическаго дарованія, каждое событіе, каждое впечатлѣніе, каждое движеніе чувства неминуемо облакалось у Пушкина въ поэтическій образъ. Тщательныя, кропотливыя изысканія показали, что у Пушкина, за исключеніемъ развѣ самыхъ первыхъ его опытовъ, нѣтъ стихотворенія, нѣтъ образа, нѣтъ даже отдѣльной черты въ образѣ, которая бы не имѣла своего основанія въ дѣйствительности. Мы не станемъ приводить длиннаго ряда доказательствъ. Ограничимся однимъ, но самымъ убѣдительнымъ примѣромъ того, какъ отражались въ поэзіи Пушкина его душевныя движенія. Вотъ что рассказываетъ г. Анненковъ: «Описаніе красоты Маріи (въ Полтавѣ) стоило, какъ видно, нѣкоторыхъ усилій Пушкину. Пушкинъ мараль свои стихи, возвращался къ нимъ и снова замѣнялъ ихъ другими. Какъ будто удивленный этой досадной остановкой на одномъ лицѣ, онъ вдругъ

покидаетъ его и подъ стихами о Маріи начинаетъ писать со-
всѣмъ другое:

Риѣма—звучная подруга
Вдохновеннаго досуга,
Вдохновеннаго труда,
Ты умолкла, улетѣла,
Измѣнила навсегда!
Твой привычный звучный лепетъ
Усмирялъ сердечный трепетъ,
Усыплялъ мою печаль!
Ты ласкалась, ты манила
И отъ міра уводила
Въ очарованную даль!
Ты, бывало, мнѣ внимала,
За мечтой моей бѣжала
Какъ послушное дитя;
То—свободна и ревнива,
Своенравна и лѣнива,
Съ нею спорила шутя (II, 187).

Такъ-то справедливы были его жалобы на непокорность
риѣмы,» замѣчаетъ г. Анненковъ ¹⁾. Да, прибавимъ мы отъ
себя, поэтъ имѣлъ право сказать:

Вѣдь риѣмы запросто со мной живутъ:
Двѣ придутъ сами, третью приведутъ (II, 308).

Послѣ этого, мы считаемъ себя въ правѣ сказать, что поэзія
Пушкина имѣетъ несомнѣнное біографическое значеніе, что въ
ней онъ выражалъ свои дѣйствительные помыслы, надежды,
стремленія, идеалы.

Но здѣсь мы должны сдѣлать два существенно-важныхъ
замѣчанія. Никогда Пушкинъ не оставлялъ своихъ произведеній
въ той первоначальной формѣ, въ которой зарождались они
подъ непосредственнымъ дѣйствіемъ впечатлѣнія. Напротивъ,
долгое время обрабатывая, перерабатывая свои созданія, онъ
сглаживалъ съ нихъ, такъ сказать, эту теплоту дѣйствительности,

¹⁾ Анненковъ: Матеріалы, стр. 195. Мы цитуемъ по второму отдѣль-
ному изданію.

до тѣхъ поръ, пока все частное, личное, случайное не растворялось въ той поэтической всеобщности, въ которой оно переставало быть событіемъ чьей либо единоличной жизни и дѣлалось фактомъ общечеловѣческаго бытія. Къ этому мы должны прибавить еще одну черту чрезвычайной важности. Это, такъ сказать, обратно пропорціональное отношеніе между поэтическимъ выраженіемъ впечатлѣнія и нравственнымъ его значеніемъ. Внѣшнее, случайное легко переносится въ поэтическое произведеніе. Довольно мелькнуть въ умѣ шуточному вопросу о Тарквиніи, и графъ Нулинъ готовъ въ два утра. Но чѣмъ глубже дѣло касается внутренней жизни поэта, тѣмъ дольше вынашивается образъ въ его душѣ, тѣмъ болѣе онъ измѣняется въ обработкѣ, тѣмъ болѣе удаляется отъ дѣйствительнаго событія. Изъ множества образовъ, которые проходили черезъ воображеніе поэта, изъ множества страстей, волновавшихъ его сердце и такъ или иначе отозвавшихся въ его поэзіи, въ его жизни было одно несомнѣнно глубокое и истинное чувство. Оно вызвало цѣлый рядъ произведеній, которыя неоспоримо должно назвать вѣнцомъ пушкинской лирики. И между тѣмъ только усиленнымъ трудомъ біографовъ и комментаторовъ удалось отыскать ихъ жизненную основу. Достойно замѣчанія, какъ Пушкинъ сглаживалъ съ своихъ произведеній эти жизненные черты. Элегія: Подъ небомъ голубымъ страны своей родной, первоначально начиналась такъ:

Подъ небомъ сладостнымъ Италіи своей,

но географическое имя и указаніе, съ нимъ связанное, слишкомъ прямо указывали на лицо, вызвавшее стихотвореніе, и Пушкинъ измѣняетъ его редакцію. Еще любопытнѣе передѣлка въ стихотвореніи:

Для береговъ *отчизны* дальней
Ты покидала край *чужой*...

которое до поправки читалось:

Для береговъ *чужбины* дальней
Ты покидала край *родной*...

Для насъ имѣетъ особенную цѣну одинъ вариантъ. Когда тягость жизни стала особенно чувствительна для Пушкина и

въ самый день его рожденія выразилась грустнымъ стихотвореніемъ: Даръ напрасный... высокопреосвященный Филаретъ, который высоко цѣнилъ и талантъ, и лицо Пушкина, отвѣтилъ ему стихотвореніемъ, которое какъ нельзя болѣе подходило и къ собственному образу мыслей Пушкина. Пораженный этимъ трогательнымъ знакомъ участія и вниманія, Пушкинъ отвѣчалъ въ свою очередь стансами:

Въ часы забавъ иль праздной скуки...

Послѣдняя строфа этого стихотворенія читалась:

Твоимъ огнемъ душа *согрѣта*,
Отвергла блескъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ *Филарета*
Въ священномъ ужасѣ поэтъ,

но слишкомъ прямое указаніе на дѣйствительность заставило Пушкина укрѣпить истинное значеніе стихотворенія и дать ему характеръ чисто поэтическаго образа:

Твоимъ огнемъ душа *палима*
Отвергла блескъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ *серафима*
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

И причина этихъ передѣлокъ заключается вовсе не въ художественныхъ требованіяхъ, а въ глубокомъ нравственномъ чувствѣ поэта. Если бы мы захотѣли опредѣлить самую сокровенную сущность души поэта, мы назвали бы ее цѣломудріемъ. Отсюда замѣшательство, робость, застѣнчивость, неловкость тамъ, гдѣ Пушкинъ долженъ былъ выразить свое истинное чувство: вспомнимъ его бѣгство передъ Державинымъ, его неловкость передъ Гончаровой и множество подобныхъ анекдотовъ. Пушкинъ зналъ это свойство своей природы и не только старался таить въ себѣ свои лучшія свойства, такъ что чѣмъ святѣе было для него чувство, тѣмъ меньше онъ его высказывалъ, но еще, какъ разъ напротивъ, всячески старался отречься отъ этого чувства, даже осмѣять его, лишь бы не приписали ему его, и наоборотъ охотно и добровольно бралъ на себя всякіе пороки, и попреимуществу тѣ, которые

были противоположны затаеннымъ въ немъ добродѣтелямъ. Это добровольное, какъ выразился одинъ изъ біографовъ ¹⁾, *юродство* поэта еще болѣе запутывало сужденія о немъ.

«Въ немъ не было ни внѣшней ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ; онъ полагалъ даже какое-то хвастовство въ высшемъ цинизмѣ по этимъ предметамъ», отзывался о Пушкинѣ одинъ изъ его лицейскихъ товарищей. Впрочемъ, самъ суровый судья-товарищъ прибавляетъ къ приведенному отзыву слова: «я не сомнѣваюсь, что для ѣдкаго слова онъ иногда говорилъ даже болѣе и хуже, нежели думалъ и чувствовалъ» ²⁾... Драгоцѣнное признаніе заключается въ одномъ анекдотѣ о Байронѣ, который Пушкинъ въ 1830 году напечаталъ въ Литературной газетѣ. Анекдотъ состоитъ въ томъ, что Байронъ чрезвычайно дорожилъ крестомъ, который подарилъ ему одинъ монахъ въ Аѣинахъ, такъ что никогда съ нимъ не разставался. Но дѣло не въ анекдотѣ, а въ тѣхъ размышленіяхъ, которыми Пушкинъ его сопровождаетъ. «Душа человѣка,» говоритъ Пушкинъ, «есть недоступное хранилище его помысловъ: если самъ онъ таитъ ихъ, то ни коварный глазъ непріязни, ни предупредительный взоръ дружбы не могутъ проникнуть въ сіе хранилище. И какъ судить о свойствахъ и образѣ мыслей человѣка по наружнымъ его дѣйствіямъ? Онъ можетъ по произволу надѣвать на себя притворную личину порочности, какъ и добродѣтели. Часто, по какому-либо своенравному убѣжденію ума своего, онъ можетъ выставить на позоръ толпѣ не самую лучшую сторону своего нравственного бытія; часто можетъ бросать пыль въ глаза черни одиѣми своими странностями.» «Видно изъ этого случая,» прибавляетъ Пушкинъ, «что вѣра внутренняя перевѣшивала въ душѣ Байрона скептицизмъ, выказанный имъ мѣстами въ своихъ твореніяхъ. Можетъ быть даже, что скептицизмъ сей былъ только временнымъ своенравіемъ ума, иногда идущаго вопреки убѣжденію внутреннему, вѣрѣ душевной» (V, 118—120). На эту статью нельзя иначе смотрѣть,

¹⁾ Бартевевъ: Пушкинъ въ Южной Россіи. «Русскій Архивъ» 1866 г., стр. 1170.

²⁾ Анненковъ: А. С. Пушкинъ въ александровскую эпоху, стр. 41.

какъ на публичное оправданіе самого Пушкина. Искренность его стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія, но и желаніе высказаться объ этомъ передъ обществомъ также достойно замѣчанія и говорить много. Зная это свойство, мы безъ большаго затрудненія опредѣлимъ, чему вѣрить и чему не вѣрить въ Пушкинѣ. Мы считаемъ себя въ правѣ отбросить все то, что наиболѣе бросается въ глаза въ его жизни, и сколько можно внимательнѣе присматриваться къ тому, что, затаенное въ глубинѣ души, только украдкою сказывалось въ его интимныхъ сношеніяхъ.

Руководствуясь этими указаніями, мы можемъ теперь уже съ нѣкоторою увѣренностью приступить къ нашей задачѣ: опредѣленія идеаловъ Пушкина. Разсматривая на основаніи всѣхъ извѣстныхъ данныхъ развитіе Пушкина, мы видимъ въ немъ два ясно разграниченныхъ періода, которые внѣшнимъ образомъ совпадаютъ съ границею двухъ царствованій. Различіе между этими двумя эпохами такъ существенно, что его можно бы объяснить какими-нибудь внѣшними обстоятельствами, произведшими рѣшительный переломъ въ настроеніи поэта, если бы несомнѣнные факты не говорили убѣдительно и рѣшительнымъ образомъ, что перемѣна въ Пушкинѣ совершалась постепенно, самостоятельнымъ и свободнымъ движеніемъ его мысли, и если бы извѣстные взгляды не предшествовали тѣмъ событіямъ, которыхъ вліянію ихъ можно бы приписать. Событія только пополняли и уясняли то, что уже проникло въ убѣжденія Пушкина, но еще не вполне опредѣлилось въ его сознаніи. Правда, въ хронологіи событій мы не найдемъ той строгой послѣдовательности, какая представляется въ отвлеченіи, такъ что весьма нерѣдко мы встрѣтимся съ фактами, рѣзко другъ другу противорѣчащими и повидимому опровергающими наше построеніе. Это явленіе уже останавливало на себѣ вниманіе біографовъ Пушкина и приводило ихъ къ мысли о двойственности его натуры, разрозненности, разорванности его личности ¹⁾. Но причина всѣхъ недоразумѣній заключается

¹⁾ Анненковъ: Матеріалы, 395: не надо забывать, что изъ смѣшенія противоположностей состоитъ весь поэтический обликъ Пушкина. Бартеневъ. «Русскій Архивъ» 1866 г., стр. 1169.

въ самыхъ свойствахъ пушкинскаго развитія. Оно шло чрезвычайно быстро и притомъ, если можно такъ выразиться, разомъ во всѣ стороны. Пушкинъ нерѣдко обгонялъ самого себя, и тогда какъ перо заносило на бумагу одинъ рядъ идей, дѣйствительныя мысли Пушкина были уже далеко впереди и вовсе непохожи на тѣ, которыя читались въ его произведеніяхъ. И наше изложеніе, слѣдуя за прихотливыми изгибами широкаго и многовѣтвистаго русла, въ которомъ текла мысль Пушкина, по необходимости будетъ уклоняться отъ строгой хронологической послѣдовательности, но тѣмъ не менѣе мы постараемся сохранить во всей ясности основныя черты отдѣльных періодовъ.

Мы видѣли, какою могущественною, демоническою, по выраженію самого Пушкина, силою творчества былъ онъ одаренъ. Какая же была потребна нравственная сила, чтобы обуздать и направить къ истиннымъ и высокимъ цѣлямъ это бурное дарованіе? Гдѣ же могъ Пушкинъ почерпнуть эту нравственную силу? Прежде всего — не въ семьѣ. Напротивъ, семья дава Пушкину все, что только могло развратить въ корень и сгубить молодую душу. Поступая въ лицей одиннадцати лѣтъ, Пушкинъ уже зналъ наизусть всю французскую литературу, со всѣми вольнодумными матеріалистическими и соблазнительными произведеніями, которыми было такъ богато восемнадцатое столѣтіе ¹⁾. Неудивительно, что воспитатели Пушкина отзывались о немъ, какъ о юношѣ, въ сердцѣ котораго нѣтъ ни любви, ни религіи ²⁾; неудивительно, что онъ долго носилъ на себѣ отпечатокъ семейнаго вліянія; но удивительно, что онъ сумѣлъ отъ него освободиться. Школа, въ которую затѣмъ поступилъ Пушкинъ, по своему устройству, по выбору профессоровъ, представляла самое блестящее явленіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ воспитательная сторона далеко не отвѣчала педагогическимъ требованіямъ. Первый директоръ лицея, Малиновскій, умеръ вскорѣ, и до вступленія въ эту должность Энгельгардта лицей въ теченіе двухъ лѣтъ оставался безъ директора. Это

¹⁾ Анненковъ: Матеріалы, 12.

²⁾ Анненковъ: Пушкинъ, 41.

время Пушкинъ называлъ временемъ безначалія. Распушенность проникла въ нравы заведенія, и Энгельгардту не сразу удалось водворить порядокъ. Семнадцатилѣтнимъ юношей Пушкинъ уже окончилъ курсъ, числился на государственной службѣ и неудержимо ринулся во всѣ удовольствія и увлеченія свѣтской жизни. Первая глава «Евгенія Онѣгина» рисуетъ несомнѣнно и портретъ, и образъ жизни самого Пушкина. Что же, кромѣ удовольствій, нашелъ Пушкинъ въ томъ обществѣ, въ которое теперь вступилъ? Время Александра I-го было временемъ высшего господства европеизма въ русской жизни. Восторженный поклонникъ запада, ученикъ республиканца Лагарпа, окруженный министрами, иногда даже неумѣвшими говорить по-русски, императоръ Александръ I въ самомъ началѣ своего царствованія сталъ во главѣ такъ называемаго либеральнаго движенія, стремившагося къ пересадкѣ на русскую почву западныхъ идей и учреждений, несомнѣнно изящныхъ, благородныхъ и гуманныхъ, но не связанныхъ ни съ исторіей, ни съ устройствомъ, ни съ бытомъ, ни съ задачами Россіи. Не трудно представить себѣ, какой безграничный просторъ получило распространеніе этихъ идей въ нашемъ обществѣ. Ихъ несогласіе съ русскою жизнью уже давало себя чувствовать довольно рѣзкими и жесткими противорѣчіями. Самъ императоръ Александръ вынужденъ былъ наконецъ остановиться передъ этими противорѣчіями. Но общество, и особенно молодежь, не могло остановиться такъ скоро, и броженіе шло далѣе и далѣе, пока наконецъ не разразилось роковымъ кризисомъ 14-го декабря. Конечно, этотъ либеральный духъ, пронесившійся надъ моремъ русской жизни, волновалъ и пѣнилъ только ея поверхность, но именно въ ней то и плавалъ Пушкинъ, и была ли какая-нибудь возможность для его чуткой и отзывчивой натуры не увлечься этимъ вихремъ, и не повторить его отголосковъ въ своей поэзіи? И мы видимъ дѣйствительно, что Пушкинъ въ первыя десять лѣтъ своей дѣятельности (1814—1824) является отголоскомъ всѣхъ вѣяній, которыя проносятся надъ русскою жизнью. Мы разумѣемъ не то либеральное настроеніе, которое вызвало эти историческія строки:

Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, павшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря? (I, 222).

Увлеченіе либеральными идеями было сильнѣе и глубже, и оставило рѣзкій слѣдъ въ его произведеніяхъ. Пушкинъ даже мечталъ, что его имя напишутъ на обломкахъ самовластья. Но важнѣе тѣмъ увлеченіе либеральными идеями было другое направленіе мысли, съ которымъ дважды повстрѣчался Пушкинъ; это было чистое невѣріе. Сначала оно явилось предъ нимъ въ поэтическомъ образѣ Демона. Быть можетъ, въ немъ есть черты какого-нибудь дѣйствительнаго лица, но какъ бы то ни было, этотъ образъ на нѣкоторое время овладѣлъ душою Пушкина и, хотя поэту было грустно, тяжело, больно,

Но, одолѣвъ мой умъ въ борьбѣ,
Онъ сочеталъ меня невольно
Своей таинственной судьбѣ;
Я сталъ взирать его очами,
Съ его печальными рѣчами
Мои слова звучали въ ладъ... (III, 189).

А между тѣмъ впереди его ждало другое искушеніе. Въ Одессѣ Пушкинъ встрѣтился съ однимъ англичаниномъ (Гунчисонъ), глухимъ философомъ, какъ выразится Пушкинъ, у котораго онъ бралъ уроки чистаго атеизма. «Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, всего болѣе правдоподобная,» говорилъ Пушкинъ въ одномъ частномъ письмѣ ¹⁾. Извѣстно, что эти самыя слова послужили поводомъ къ весьма тяжкому обвиненію Пушкина въ безбожіи, обвиненію, которое, какъ замѣчаетъ академикъ Я. К. Гротъ, къ удивленію и теперь еще нерѣдко повторяется людьми, серьезно не изучавшими Пушкина ²⁾. Но, вглядываясь внимательно въ отношенія Пушкина къ Гунчисону, который, замѣтимъ въ скобкахъ, пять лѣтъ спустя былъ уже ревностнымъ

¹⁾ Анненковъ: Пушкинъ, 261.

²⁾ Вѣнокъ на памятникъ Пушкина. О. Б. С.-Петербургъ, 1880, стр. 233.

пасторомъ англиканской церкви въ Лондонѣ, мы не можемъ думать, чтобы онъ произвелъ на Пушкина серьезное вліяніе. Въ письмѣ къ Казначееву, правителю канцеляріи графа Воронцова, письмѣ официальномъ, но въ то же время крайне откровенномъ и рѣзкомъ, Пушкинъ прямо называетъ своего учителя прощальгой (*galopin*), а его уроки пошлой болтовнею (*sa platitude et son baragoin*). Вѣрнѣе всего эти отношенія можно опредѣлить пушкинскими же стихами къ князю Юсупову:

И скромно ты внималъ
За чашей медленной Аею иль Деисту,
Какъ любопытный снѣгъ афинскому софисту (II, 293).

Такова была среда въ семьѣ, въ школѣ и въ обществѣ, въ которой пришлось вращаться и развиваться Пушкину. Что-жъ удивительнаго, что волны жизни обдавали его своими брызгами, и что слѣды ихъ пѣны остались и на его произведеніяхъ? Гораздо важнѣе то, что, пройдя чрезъ всѣ эти искушенія, отразивши на себѣ всѣ вѣянія вѣка, переболѣвши всѣми его недугами, переживши всѣ его пороки, Пушкинъ однако же сумѣлъ отъ нихъ освободиться и взлетѣть на такую нравственную высоту, на которую едва могли поднять свои взоры многіе изъ тѣхъ, слабости которыхъ раздѣлялъ Пушкинъ. Здѣсь умѣстно привести отзывъ о Пушкинѣ чловѣка, который близко его зналъ и, хотя не всегда былъ ровень въ своихъ сужденіяхъ подъ вліяніемъ политическихъ страстей, но на этотъ разъ могъ говорить только истину: «Недостатки Пушкина повидимому зависѣли отъ обстоятельствъ и общества, въ которомъ онъ вращался, но что въ немъ было добраго, то происходило изъ его собственнаго сердца» ¹⁾.

Вотъ какъ изображаетъ Пушкинъ свою дѣятельность въ эту эпоху:

¹⁾ Dzieła Adama Mickiewicza. Tom V, 279. Paryz, 1880. Къ сожалѣнію мы имѣемъ польскій переводъ этого некролога, написаннаго по-французски и появившагося въ газетѣ «Le Globe» № 1, 21 mai, 1837, за подписью: un ami de Puszkin. Вотъ польскій текстъ: Wady jego zdawali się zależeć od okoliczności i od społeczeństwa w jakim żył, ale co było dobrego w nim, z własnego jego pochodziło serca.

И я, въ законъ себѣ вмѣняя
 Страстей единый произволъ,
 Съ толпою чувства раздѣляя,
 Я музу рѣзвую привелъ
 На шумъ пировъ и буйныхъ споровъ,
 Грозы полуночныхъ дозоровъ;
 И къ нимъ въ безумные пиры
 Она несла свои дары,
 И какъ вакханочка рѣзвилась,
 За чашей пѣла для гостей,
 И молодежь минувшихъ дней
 За нею буйно волочилась,
 И я гордился межъ друзей
 Подругой вѣтренной моей (III, 155).

Но уже въ 25 году Пушкинъ совершенно иначе относился къ этому произволу страстей.

Пересмотримъ теперь художественные образы, созданные Пушкинымъ, начиная съ этой эпохи. Что между ними есть общія черты, генетическая связь, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія и доказательствъ это не требуетъ. Но вотъ что достойно замѣчанія. Въ преемственности чертъ, принадлежащихъ этимъ образамъ, есть два неодинаковыхъ теченія, которыя сначала идутъ разрозненно, потомъ сближаются, пересѣкаются и наконецъ рѣшительно перемѣщаются, такъ что черты, первоначально стоявшія на дальнемъ планѣ, становятся первостепенными и господствующими. Несомнѣнно, что эти послѣднія черты и составляютъ истинную сущность его поэзіи, потому что составляютъ истинную сущность его собственной человѣческой личности. Слѣдя за ихъ развитіемъ, мы по необходимости переступимъ хронологическія границы періодовъ, но мы уже говорили, что избѣжать этого нѣтъ возможности. Наша критика до пресыщенія натолковалась о байронизмѣ Пушкина. Нѣкогда она даже чуть не видѣла въ этомъ его достоинства, потомъ съ особенною любовію разоблачала всю слабость байронизма на русской почвѣ. Но, привыкши смотрѣть даже на русскую литературу западными или западными глазами, она проглядѣла то обстоятельство, что въ этой слабости байронизма

сказывалась наша сила, на этотъ разъ воплощенная въ Пушкинѣ. Что Байронъ имѣлъ вліяніе на Пушкина, это несомнѣнно; но если это вліяніе началось въ 1821 году, то уже въ 1824 году Пушкинъ торжественно съ нимъ распрощался. Прибавимъ къ этому, что это вліяніе было исключительно литературное и нисколько не коснулось образа мыслей, а тѣмъ болѣе убѣжденій Пушкина. Итакъ критика все свое вниманіе устремляла на байронические образы. Кавказскій плѣнникъ, Разбойникъ, Гирей, Алеко, Евгенийъ Онѣгинъ первыхъ главъ—вотъ образы, надъ которыми она истощала свои силы, то возвышая ихъ поэтическое достоинство, то разоблачая ихъ нравственное ничтожество. Но она проглядѣла, что рядомъ съ этимъ у Пушкина идетъ другой рядъ фигуръ, въ которыхъ сказываются черты уже не совсѣмъ байроническія. Оставимъ въ покоѣ Кавказскаго плѣнника, съ его знаніемъ свѣта и людей, съ его вѣрой въ идолъ свободы, съ его бурной жизнью, съ его грознымъ страданьемъ, съ его увядшимъ сердцемъ. Наша критика не оставила мѣста для новыхъ замѣчаній о несостоятельности этого характера. Но вотъ черкешенка узнаетъ его грубый обманъ. Онъ любитъ другую...

О чемъ же я еще тоскую?

О чемъ уныніе мое?

спрашиваетъ она. И рѣшаетъ вопросъ съ поразительной правдой сердца, съ высокимъ нравственнымъ чувствомъ:

Ты любилъ другую?

Найди ее, люби ее.

Прости! любви благословенья

Съ тобою будутъ каждый часъ (I, 353).

«Струистый кругъ въ водахъ плеснувшихъ» одинъ скажетъ намъ, чѣмъ разрѣшилось самоотверженіе черкешенки, неустоявшей передъ бурей страсти, но съ какимъ возвышеннымъ благородствомъ является эта страсть и какъ низко передъ ея нравственностью чувственный эгоизмъ плѣнника, который спокойно удаляется подъ охрану казачьихъ пикетовъ, принося имъ въ драгоценный подарокъ свое ничтожество. Невольно является

вопросъ: развѣ это черкешенка? Не сказать ли скорѣе, что это настоящая русская женщина, для которой права другаго сердца дороже ея собственнаго счастья? Не менѣе излюбленъ нашею критикою образъ Алеко въ Цыганахъ. Говорить объ немъ мы избавлены отъ необходимости. Но не можемъ не обратить вниманія на другой величавый образъ, который въ нашихъ глазахъ заслоняетъ и Алеко и Земфиру, какъ ни много потрачено силъ на ихъ изображеніе и объясненіе, образъ старика цыгана. Алеко—герой. Онъ уже не мечтатель, какъ Пльнникъ, онъ дѣйтель: не даромъ его преслѣдуетъ законъ. Но онъ не простой преступникъ, онъ вступилъ въ борьбу съ закономъ, протестуя во имя свободы. Изъ этого же протеста онъ хочетъ быть цыганомъ, пользоваться ихъ вольностью. Но что такое свобода безъ закона? Или та нравственная высота, на которой уже дѣйствительно человѣку законъ не лежитъ, или необузданный эгоизмъ страстей. Алеко представитель послѣдняго. Онъ забылъ, что отрицаніе закона необходимо есть отрицаніе правъ, обязанности,—и заговорилъ о своихъ правахъ, о мщеніи, о казни...

Тогда старикъ приближась рекъ:
Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли (I, 490).

Допустимъ, что Алеко созданъ подъ вліяніемъ Байрона, но подъ какимъ же вліяніемъ созданъ старикъ-цыганъ? Ужъ конечно не въ бессарабскихъ степяхъ и не въ таборахъ встрѣтилъ его Пушкинъ. Очевидно, такого цыгана въ дѣйствительности не существуетъ, да и идеаль-то это не цыганскій. Но въ томъ-то и дѣло, что это идеаль пушкинскій, и что онъ, какъ черкешенка, есть созданіе нравственной природы самого Пушкина, есть выраженіе его собственнаго понятія о свободѣ, и что этимъ созданіемъ Пушкинъ еще рѣзче осудилъ байроническій идеаль. Между Пльнникомъ и Цыганами были созданы Братья Разбойники и Бахчисарайскій Фонтанъ. Братья Разбойники—отрывокъ. Какая идея руководила здѣсь Пушкинымъ, было бы трудно опредѣлить, если бы посмертное из-

даніе не дало ея заключительной строфы. Къ сожалѣнію, остается неизвѣстнымъ, когда написано это заключеніе, но должно думать, что оно современно поэмѣ и ни въ какомъ случаѣ не позже 24 года. Въ высшей степени поучительно, что въ немъ есть два стиха, такъ сказать, параллельныхъ съ Цыганами. Изображая душевное состояніе своего героя въ цыганской жизни, Пушкинъ говоритъ о его прежнихъ страстяхъ:

Давно-ль, на долго-ль пристрастился?
Онъ проснулся: погоди! (I, 476),

а Братьевъ-Разбойниковъ онъ заключаетъ стихами:

Въ ихъ сердцахъ дремлетъ совесть:
Она проснется въ черный день (I, 396).

И такъ кто-же долженъ проснуться? страсти или совесть? За кѣмъ обязательно нравственное торжество? За произволомъ ли страстей, за закономъ ли нравственности? Очевидно, Пушкинъ дошелъ до той минуты, когда этотъ вопросъ, уже назрѣвавшій въ образѣ черкешенки и старика-цыгана, сталъ передъ нимъ во всей прямотѣ и ясности. Если отвѣтъ не видѣнъ уже и теперь, то послѣдующія произведенія намъ дадутъ отвѣтъ. Рядомъ идетъ Бахчисарайскій Фонтанъ. Доселѣ, мы видѣли, Пушкинъ оставался на почвѣ страсти: онъ только противопоставлялъ страсти эгоистической страсть идеальную, которую хотѣлъ представить и нравственною. Но въ страсти ли, какъ бы ни была она возвышенна и благородна, лежитъ задатокъ нравственности? Нѣтъ ли какого другого основанія, которое бы могло ее таковою сдѣлать? могло ее обуздывать, сдерживать? Въ Братьяхъ-Разбойникахъ указана совесть. Но достаточно ли она? И вотъ передъ нами гаремъ крымскаго владыки, гдѣ уже нѣтъ никакого закона, кромѣ закона чувственныхъ страстей, передъ нами Зарема, которая только для страсти рождена.... И что же? Все бѣшенство страстей останавливается, разбивается и никнетъ передъ однимъ уединеннымъ уголкомъ.

Тамъ день и ночь горитъ лампада
Предъ ликомъ Дѣвы Пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Тамъ упованье въ тишинѣ

Съ смиренной вѣрой обитаетъ...
 И между тѣмъ какъ все вокругъ
 Въ безумной нѣгѣ утопаетъ,
 Святиню строгую скрываетъ
 Спасенный чудомъ уголокъ (I, 424).

И что именно этотъ мотивъ, а не мечтательность Гирея, не бѣшеное изступленіе Заремы, составлялъ душевную правду Пушкина, доказываетъ непосредственно за симъ слѣдующее лирическое и очевидно личное отступленіе:

Такъ сердце, жертва заблужденій,
 Среди порочныхъ упоеній,
 Хранить одинъ святой залогъ,
 Одно божественное чувство.

Послѣ Цыганъ никто уже не говоритъ о байронизмѣ Пушкина. Онъ вышелъ на новую дорогу. Но отголоски по временамъ еще слышатся, хотя уже въ такой обстановкѣ, которая не оставляетъ сомнѣнія въ образѣ мыслей Пушкина, и которая придаетъ особенный интересъ и значеніе и этимъ отзвукамъ и тому настроенію, отъ котораго они уцѣлѣли. Минуя до времени и Бориса Годунова и Онѣгина и слѣдя исключительно за байроническими образами, мы прямо перешагнемъ къ Полтавѣ. Передъ нами цѣлая буря страстей: Мазепа, Марія, Орликъ, Кочубей, его жена, молодой казакъ, Карлъ XII—все это крутится въ ихъ водоворотѣ.

Прошло сто лѣтъ—и что-жъ осталось
 Отъ сильныхъ гордыхъ сихъ мужей,
 Столь полныхъ волею страстей?
 Ихъ поколѣнье миновалось—
 И съ нимъ исчезъ кровавый слѣдъ
 Усилій, бѣдствій и побѣдъ.

Здѣсь уже идея Пушкина ясна безъ доказательствъ и объясненій. О шведскомъ королѣ гласятъ только

Три углубленныя въ землѣ
 И мхомъ поросшія ступени

въ Бендерахъ; Мазепа забытъ давно и—

Тщетно пришлецъ унылый
Искалъ бы гетманской могилы.
Но дочь-преступница... преданья
Объ ней молчать (II, 238).

Торжествующимъ остался одинъ Петръ. Образъ Мазепы слабъ и въ художественномъ, и въ психологическомъ отношеніи. Задумавши изобразить человѣка съ сильными страстями, Пушкинъ столько нагромоздилъ ихъ на душу Мазепы, что, не говоря уже о противорѣчіяхъ, вмѣсто образа, передъ нами явилась только какая-то реторическая фигура, въ которой, какъ говорятъ нѣмцы, изъ-за деревьевъ лѣсу не видать. Чѣмъ же объяснимъ мы эту относительную слабость созданія? Да именно тѣмъ, что теперь мысль Пушкина занята другими идеалами, и онъ усталъ рисовать ту игру страстей, которая нѣкогда такъ его занимала, усталъ потому, что пересталъ въ ней видѣть зиждительную общественную силу. Оттого-то такъ вяло, натянуто и неестественно и вышло изображеніе Мазепы, точно Пушкинъ торопился отдѣлаться отъ этого безмѣрно надоѣвшаго ему образа человѣка со страстями.

Однако, прежде чѣмъ перейдемъ къ этимъ новымъ идеаламъ Пушкина, остановимся надъ однимъ образомъ, который зародился еще въ байроническую эпоху (мы знаемъ теперь, насколько вѣрно это выраженіе), страннымъ спутникомъ прошель съ Пушкинымъ всѣ стадіи его развитія и былъ имъ оставленъ въ ту минуту, когда уже изъ этого образа нельзя было выработать ничего, соответствующаго новому настроенію самого Пушкина. Онѣгинъ гордо, безъ заботъ, начинаетъ свою пламенную молодость, отдаваясь всѣмъ теченіямъ житейскихъ волнъ, всѣмъ вѣяніямъ модныхъ вихрей. Одинъ изъ этихъ вихрей онъ ловить подъ свой парусъ и слѣдуетъ его направленію. Это демонизмъ, разочарованіе. Конечно, на фреальной почвѣ, на которой происходитъ дѣйствіе романа, демонизмъ принимаетъ крайне мелкіе размѣры и отношеніе къ нему Пушкина по необходимости становится ироническимъ, но именно въ этомъ и заключается тотъ величайшій интересъ, который

связывается съ развитіемъ Онѣгина. Онъ—Демонъ, но, такъ сказать, въ свѣтскомъ, прозаическомъ переводѣ. Онъ не зоветъ прекрасное мечтою, но во имя политической экономіи бранитъ Гомера, Теокрита, которыхъ, конечно, въ глаза не видалъ, и никакъ не можетъ отличить ямба отъ хорей. Онъ не презираетъ вдохновенія, но просто не понимаетъ сѣверныхъ поэмъ, которыя восторженно декламируетъ ему Ленскій. Язвительныя рѣчи Демона стали у него просто салонными эпиграммами. Онъ, какъ Плѣнникъ, разочарованъ и въ любви и въ дружбѣ; но для него это вовсе не грозное страданье, а весьма прозаическое явленіе:

Измѣны утомить успѣли;
Друзья и дружба надоѣли,
Затѣмъ, что не всегда же могъ
Beef-steaks и страсбургскій пирогъ
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острыя слова,
Когда болѣла голова (III, 17).

Такъ осмѣяны фальшивыя страданія Плѣнника. Не легче приходится и Алеко. Помните, какъ онъ проклиналъ неволю душевныхъ городовъ!

Вотъ нашъ Онѣгинъ сельскій житель.

Но что же?

Увидѣлъ ясно онъ,
Что и въ деревнѣ скука та же,
Хоть нѣтъ ни улицъ, ни дворцовъ...

Но есть еще черта въ Онѣгинѣ, которая всего болѣе роднитъ его съ байроническими образами.

Не долго женскую любовь
Печалить хладная разлука—
Пройдетъ любовь, настанетъ скука,
Красавица полюбитъ вновь... (I, 348).

проповѣдовалъ плѣнникъ черкешенкѣ. Неудивительно, что та, раскрывъ уста, слушала такія удивительныя рѣчи.

Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя... (I, 484)

утѣшаетъ старикъ-цыганъ Алеко въ измѣнѣ Земфиры. Эти
умныя рѣчи повторяетъ и Онѣгинъ:

Смѣнить не разъ младая дѣва
Мечтами легкія мечты;
Такъ деревцо свои листы

(Онъ же кстати говорилъ въ саду, матеріалъ для сравненія
являлся самъ собой)

Мѣняетъ съ каждою весною:
Такъ видно небомъ суждено.
Полюбите вы снова...

Едва дыша, безъ возраженій
Татьяна слушала его (III, 73).

Но Пушкинъ возразилъ за нее. Похваливъ Онѣгина за его
милый поступокъ, за прямое благородство его души, онъ от-
крылъ намъ истинный смыслъ этого благородства, когда иро-
ническую діатрибу, слѣдующую за симъ, заключилъ словами:

Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель.

Эгоизмъ высокомернаго самомнѣнія, демонической гордости
разоблаченъ и изобличенъ. Въ будущемъ ждетъ его еще боль-
шая кара. Оттолкнувъ Татьяну, убивъ Ленскаго, Онѣгинъ
скрывается изъ деревни. Татьяна попадаетъ въ его кабинетъ,
находитъ его книги,—

И ей открылся міръ иной...
Хранили многія страницы
Отмѣтку рѣзкую ногтей...
На ихъ поляхъ она встрѣчаетъ
Черты его карандаша.
Вездѣ Онѣгина душа
Себя невольно выражаетъ...

И Татьяна начинаетъ понимать яснѣе это созданье ада,
этого надменнаго Демона. Что-жъ онъ? Увы!

Подражанье,
 Ничтожный призракъ, иль еще
 Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
 Чужихъ причудъ истолкованье,
 Словъ модныхъ полный лексиконъ!
 Пародія! (III, 139).

Не дешево обошлось Татьянѣ это открытіе; разочарованіе, доставшееся ей на долю, было подѣйствительнѣе онѣгинскаго. Но отсюда и раскрывается воплощенная въ Татьянѣ идея Пушкина. Схоронивши идеалъ Онѣгина, Татьяна сознала правду своего чувства и эту святыню унесла съ собой на всю свою жизнь. Да, для ней любовь была не шутка. Онѣгинъ оказался ея недостойнымъ, и этого напускнаго Онѣгина она отвергла навсегда, безповоротно, но тотъ идеалъ, который въ образѣ Онѣгина предательски похитилъ ея чувство, остается навсегда предметомъ ея любви.

Я васъ люблю; къ чему лукавить,
 говорила она не тому Онѣгину, который

Въ тоскѣ безумныхъ сожалѣній
 стоялъ на колѣнахъ передъ нею, но тому, который нѣкогда
 являлся ей въ сумракѣ липовыхъ аллей. Оттого-то онъ и не
 имѣетъ болѣе никакой власти надъ нею. Но не въ этомъ убій-
 ственномъ приговорѣ:

Вы должны меня оставить,
 заключается кара Онѣгина: она заключается въ его чувствѣ.
 Было время, когда онъ не посмѣлъ повѣрить нѣжности Татьяны,
 когда любовь для него была только милой привычкой, которой
 онъ не далъ ходу, не желая потерять свободу, но теперь...
 Въ высшей степени замѣчателенъ приговоръ, который Пуш-
 кинъ произноситъ надъ любовью Онѣгина. Въ Полтавѣ онъ
 оправдываетъ любовь Мазепы: чувства въ немъ кипятъ, не
 мгновенными страстями пылаетъ сердце старика, окаменѣлое
 годами,

Въ немъ поздній жаръ ужъ не остынетъ,
 И съ жизнью лишь его покинетъ (II, 192).

Это было написано въ 1828 году, это послѣднее байроническое воспоминаніе. Но вотъ какъ судить объ этомъ Пушкинъ въ 1831 году:

Въ возрастъ поздній и безплодный,
На поворотѣ нашихъ лѣтъ,
Печалень страсти мертвой слѣдъ.
Такъ бури осени холодной
Въ болото обращаютъ лугъ
И обнажаютъ лѣсъ вокругъ... (III, 166).

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ
Блаженъ, кто во время созрѣлъ,

заключаетъ поэтъ. Такъ расстался Пушкинъ съ идеалами свободной страсти.

Какой же идеалъ созрѣлъ теперь въ его душѣ? Опять обратимся къ прежнимъ образамъ—черкешенкѣ, старику-цыгану, братьямъ-разбойникамъ. Мы видѣли, какъ Пушкинъ, еще

Въ законъ себѣ вмѣняя
Страстей единый произволъ,

старался возвести страсть къ возвышенному нравственному характеру. Но страсть и облагороженная оставалась страстью. И вотъ Пушкинъ переноситъ свой взоръ въ другую сторону: страсти съ ея буйнымъ произволомъ онъ противопоставляетъ чувство законнаго долга. Что ставитъ Татьяну неизмѣримо выше всего окружающаго міра, что даетъ ей эту власть надъ нимъ? Ея спокойное достоинство, основанное именно на этомъ непоколебимомъ чувствѣ долга, ея свобода отъ всякой тревоги и мелочныхъ страстей.

Я другому отдана:
Я буду вѣкъ ему вѣрна.

Эти слова Татьяны подавали поводъ къ безчисленнымъ и разнообразнымъ комментаріямъ. Но надо взглянуть на нихъ просто и смыслъ самъ собою станетъ понятенъ. Да, сердце Татьяны не участвовало въ выборѣ супруга; ей были всѣ жребіи равны, ее отдали замужъ. Но, разъ принявши на себя обяза-

тельство, Татьяна свято его сбережетъ. Она ничьей, ни даже собственныхъ страстей, игрушкой не станетъ. Личное счастье было когда-то возможно, но оно не возвратится, и не все же быть ребенкомъ, надо взглянуть на жизнь открытыми глазами и найти въ ней другое содержаніе поважнѣе онѣгинской запоздалой страсти. Татьяна научилась уважать свое нравственное достоинство и въ немъ нашла замѣну утраченнаго счастья. Но за то какое же влияніе пріобрѣла она на окружающее общество:

Къ ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мущины кланялися ниже,
Ловили взоръ ея очей;
Дѣвицы проходили тише
Предъ ней по залѣ, и всѣхъ выше
И носъ и плечи подымалъ
Вошедшій съ нею генералъ (III, 160).

Вотъ почему она и называетъ страсть Онѣгина обидною, видитъ въ ней одно только неуваженіе къ себѣ, одно мелкое рабское чувство. Татьяна развилась до той свободы, гдѣ чловѣкъ становится господиномъ своихъ душевныхъ движеній и гдѣ невозможно паденіе, потому что невозможно рабство страстямъ.

Въ чемъ же тайна этой силы и этого величія Татьяны? Одинъ Достоевскій подошелъ къ рѣшенію этого вопроса, но и онъ предпочелъ пройти въ другую сторону ¹⁾. Татьяна просто уважала святость брачнаго союза, какъ уважалъ его самъ Пушкинъ, и какъ онъ это неоднократно выразилъ въ своихъ произведеніяхъ, чего или не замѣчали, или не хотятъ замѣтить наши критики. Мы приведемъ два убѣдительныхъ доказательства. Марья Кириловна Троекурова противъ воли повѣнчана съ старымъ княземъ Верейскимъ. Дубровскій, котораго она любила, и который обѣщалъ освободить ее отъ этого брака, но, по сдѣленію обстоятельствъ, не успѣлъ этого сдѣлать, на обратномъ пути изъ церкви останавливаетъ карету молодыхъ. «Вы свободны,» сказалъ Дубровскій, обращаясь къ бѣдной

¹⁾ О, я ни слова не скажу про ея религіозныя убѣжденія, про взглядъ на таинство брака—нѣтъ, этого я не коснусь. Вѣнокъ, стр. 249.

княжнѣ. — «Нѣтъ,» отвѣчала она: «поздно! я обвинчана, я жена князя ***». — «Что вы говорите!» закричалъ съ отчаяніемъ Дубровский: «нѣтъ! вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться....» — «Я согласилась, я дала клятву,» возразила она съ твердостью: «Князь мой мужъ, прикажите освободить его и оставьте меня съ нимъ... Я не обманывала, я ждала васъ до послѣдней минуты....но теперь, говорю вамъ, теперь поздно. Пустите насъ» (IV, 199).

Еще убѣдительнѣе, если только предъидущій примѣръ можетъ показаться неубѣдительнымъ, мотивъ, на которомъ построена повѣсть «Метель». Марья Гавриловна любитъ сосѣда Владиміра, но родители не согласны на ихъ бракъ. Тогда молодые люди рѣшаются обвинчаться тайно, безъ согласія родителей. Поднявшаяся метель сбиваетъ съ дороги жениха, а между тѣмъ проѣзжій проказникъ-офицеръ, въ темнотѣ и суматохѣ принятый за жениха, вѣнчается съ Марьей Гавриловной. При брачномъ поцѣлуѣ недоразумѣніе обнаруживается, проказникъ женихъ исчезаетъ, Владиміръ отправляется на войну и, раненый въ бородинскомъ сраженіи, умираетъ. Тайна Марьи Гавриловны никому неизвѣстна, тѣмъ болѣе, что родители ея переселяются въ другую губернію. Тѣмъ не менѣе Марья Гавриловна отказывается всѣмъ женихамъ, пока наконецъ не привлекаетъ къ себѣ ея сочувствія молодой гусарскій полковникъ Бурминъ. Но Бурминъ, который тоже чувствуетъ привязанность къ Марьѣ Гавриловнѣ, упорно избѣгаетъ предложенія. Наконецъ, настаетъ минута рѣшительнаго объясненія. Оказывается, что Бурминъ—женатъ, или вѣрнѣе, что онъ-то именно и женатъ на Марьѣ Гавриловнѣ. Допустимъ, что повѣсть имѣетъ характеръ анекдотическій, не могла ли бы она и появиться, если бы ей не предшествовала мысль, что бракъ, даже такой странный и случайный, все таки святъ и обязательенъ?

Увлекаемые теченіемъ Пушкинскаго творчества, мы зашли чрезвычайно далеко впередъ. Но мы не чувствовали за собой ни права, ни возможности разорвать то, что такъ цѣлостно воплощалось въ произведеніяхъ Пушкина. Теперь, когда мы достигли, такъ сказать, другаго полюса въ міросозерцаніи

Пушкина, когда, вмѣсто легкомысленнаго произвола страстей, передъ нами встала величественная идея нравственнаго долга, мы можемъ возвратиться къ тому поворотному пункту, который исчезалъ отъ насъ въ живыхъ переливахъ поэтическихъ образовъ, но который мы уловимъ и опредѣлимъ при помощи другихъ данныхъ.

Прежде всего мы, конечно, останавливаемъ свое вниманіе на перемѣнѣ въ нравственныхъ воззрѣніяхъ поэта. Что она не была безсознательною, но, напротивъ, вырабатывалась путемъ долгой и серьезной работы надъ своимъ нравственнымъ состояніемъ, на это мы имѣемъ длинный рядъ доказательствъ.

Что его юношескія произведенія были дѣйствительно чужды душѣ Пушкина, противорѣчили ея истинной сущности, Пушкинъ выразилъ въ слѣдующемъ замѣчательномъ стихотвореніи:

Художникъ-варваръ кистью сонной
Картину гевія чернить
И свой рисунокъ беззаконный
Надъ ней бессмысленно чертитъ.
Но краски чуждыя съ лѣтами
Спадаютъ ветхой чешуей;
Созданье гевія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней (I, 224).

Пушкинъ строго слѣдилъ за своими поступками, и горькія слезы раскаянія были знакомы ему не по слухамъ только.

Когда на память мнѣ невольно
Придетъ внушенный ими стихъ,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мнѣ стыдно идиловъ моихъ.
Къ чему несчастный я стремился?
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился?

Ахъ лира, лира! что же ты
Мое безумство разгласила?
Ахъ, еслибъ Лета поглотила
Мои летучія мечты!... (I, 462).

Пустыми звуками, словами
Вы свѣте развратно зло...
Пѣвцы любви, скажите сами
Какое ваше ремесло?
Передъ судилищемъ Паллады
Вамъ нѣтъ вѣнца, вамъ нѣтъ награды (III, 191).

Обращаясь къ одному изъ своихъ товарищей, другу и поэту, Пушкинъ говорить:

Съ младенчества духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ.
И дивное волненье мы познали:
Съ младенчества двѣ музы къ намъ летали
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удѣлъ;
Но я любилъ уже рукоплѣсканья,
Ты, гордый, пѣлъ для музъ и для души;
Свой даръ какъ жизнь я тратилъ безъ вниманья,
Ты гений свой воспитывалъ въ тиши.
Служенье музъ не терпитъ суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво,
И шумныя насъ радуютъ мечты...
Опомнимся, но поздно (II, 39).

Еще рѣзче онъ вспоминаетъ объ этихъ грѣхахъ юности въ 1828 году.

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день
И на нѣмыя стогны града.
Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,
Въ то время для меня влачатся въ тишинѣ
Часы томительнаго бдѣнья:
Въ бездѣйствіи nocturno живѣй горять во мнѣ
Змѣи сердечной угрызенья;
Мечты кипятъ; въ душѣ, подавленной тоской,
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;

Воспоминаніе безмолвно предо мной
 Свой длинный развивает свитокъ:
 И съ отвращеніемъ читаю жизнь мою,
 Я трепещу и проклиная,
 И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
 Но строкъ печальныхъ не смываю.
 И: Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,
 Въ безумствѣ гибельной свободы,
 Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ
 Мои утраченные годы.
 Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ
 На играхъ Вакха и Киприды (II, 185).

Теперь поэту нужно, такъ сказать, установиться, отвѣчаться отъ этихъ страстей, уйти въ самого себя, чтобы изъ глубины своего духа вынести тѣ идеалы, которые уже давно просятся наружу, и только, такъ сказать, ждутъ минуты, когда за ними будутъ признаны правда и право. Вотъ какъ совершилось это перерождение:

Духовной жаждою томимъ,
 Въ пустынь мрачной я влачился.
 И шестикрылый Серафимъ
 На перепутьи мнѣ явился.

 И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
 И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
 И празднословный, и лукавый.
 И жало мудрыя змѣи
 Въ уста замершія мои
 Вложилъ десницею кровавой.
 И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ
 И сердце трепетное вынулъ
 И угль, пылающій огнемъ,
 Во грудь отверстую водвинулъ (II. 154).

Съ этихъ поръ поэтъ уже не пойдетъ за толпою, онъ будетъ слѣдовать только гласу Бога, онъ будетъ идти дорогою свободной, кула влечетъ его свободный умъ,

Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
 Не требуя наградъ за подвигъ благородный (III, 295).

Онъ скажетъ своей музѣ:

Велѣнью Божію, о муза, будь послушна,
Обиды не страшись, не требуй и вѣнца,
Хвалу и клевету приѣмля равнодушно
И не оспаривай глупца (III, 432).

Теперь поэтъ явится дѣйствительнымъ воспитателемъ и руководителемъ общества.

Такимъ-то путемъ очищался Пушкинъ отъ всего чуждаго, наноснаго, и являлся тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ самомъ своемъ существѣ — прямымъ русскимъ человѣкомъ, проникнутымъ всѣми русскими идеалами. Это рѣшительное и такъ быстро созрѣвшее отрицаніе прежняго образа мыслей приводитъ снова къ вопросу, рѣшеніе котораго до сихъ поръ представлялось намъ только со стороны отрицательной, и котораго положительную сторону мы теперь постараемся опредѣлить, — вопросу: какимъ образомъ воспитались въ Пушкинѣ эти понятія? Пушкинъ признавалъ только одно воспитаніе, «которое дается человѣку обстоятельствами его жизни и имъ самимъ. Другого воспитанія», говорилъ онъ, «нѣтъ для существа, одареннаго душою» ¹⁾. Пушкинъ очевидно судилъ по себѣ, но къ нему эти слова могутъ быть примѣнены во всей справедливости. Воспитаніе, которое давалъ Пушкинъ самому себѣ, состояло въ упорномъ и неустанномъ трудѣ.

Здѣсь мы разумѣемъ прежде всего его работу надъ произведеніями, которая, не смотря на кажущуюся легкость и свободу формы, была тѣмъ не менѣе весьма упорна. Черновыя рукописи Пушкина достаточно о ней свидѣлствуютъ. Пушкинъ даже по-своему понималъ вдохновеніе. Вдохновеніе по его идеѣ было неразрывно соединено съ трудомъ. Возражая одному критику, вотъ какъ различаетъ онъ вдохновеніе отъ восторга: «Критикъ смѣшиваетъ вдохновеніе съ восторгомъ. Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи.

¹⁾ Анненковъ: Матеріалы, 77.

Восторгъ исключаетъ спокойствіе—необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому. Восторгъ не продолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно не въ силахъ про- известъ истинное, великое совершенство. Онъ исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго» (V, 23). Оттого-то Пушкинъ и могъ надъ незасохшею рукописью своего произведенія произносить такой ясный и вѣрный судъ, какой не удавался даже и записнымъ критикамъ. Силою этого труда Пушкинъ могъ обуздать свое сноенравное дарованіе и подчинить его своимъ идеаламъ. Не менѣе важенъ тотъ, идущій черезъ всю жизнь поэта, трудъ самообразованія, которымъ Пушкинъ старался вознаградить недостатки своего, какъ онъ выражался, проклятаго воспитанія. Письма Пушкина постоянно заключаютъ въ себѣ требованія книгъ, книгъ и книгъ. На книги уходила большая часть его средствъ; въ теченіе жизни онъ составилъ весьма значительную библіотеку. И чтеніе его постоянно сопровождалось выписками, сличеніями, критическими замѣчаніями, такъ что и чтеніе было у него трудомъ въ собственномъ и серьезномъ смыслѣ слова. Такъ же неустанно Пушкинъ вдумывался во всѣ явленія и собственной и окружающей его жизни, уразумѣвалъ ихъ смыслъ и выводилъ изъ нихъ поученія. Оттого событія жизни имѣли для него дѣйствительно воспитывающее значеніе.

Конечно, не легко было Пушкину переносить свою двукратную ссылку, тѣмъ болѣе, что онъ считалъ ее незаслуженною и несправедливою; не мало горечи, раздраженія, даже озлобленія вносила она въ душу поэта, но если взглянуть на нее съ спокойной исторической точки зрѣнія, нельзя не признать, что она, особенно въ михайловскомъ уединеніи, была истиннымъ для него благодѣяніемъ, дѣломъ особеннаго попеченія о немъ промысла Божія, хранившаго поэта для его будущихъ великихъ созданій. Отъ сколькихъ опасностей она его сберегла, сколько дала полезныхъ уроковъ, какое открыла поприще для размышленія и самоуглубленія. Самъ Пушкинъ дивился въ послѣдствіи времени своей судьбѣ, въ стихотвореніи 30 года «Аріонъ».

Насъ было много на челяѣ;
 Иные парусъ натягали,
 Другіе дружно упирали
 Въ глубь мощны веслы. Въ тишинѣ,
 На руль склонясь, нашъ кормщикъ умный
 Въ молчаньи правилъ грузный чолнъ,
 А я—безпечной вѣры полятъ—
 Пловцамъ я пѣлъ... Вдругъ лоно водъ
 Измѣлъ съ налету вихорь шумный...
 Погибъ и кормщикъ и пловецъ!
 Лишь я, таинственный пѣвецъ,
 На берегъ выброшенъ грозою,
 Я гимны прежніе пою,
 И ризу влажную мою
 Сушу на солнцѣ, подъ скалою (II, 289).

Всѣ біографы и критики единогласно признаютъ, что съ 25 года Пушкинъ окончательно проникается русскою народностью, становится русскимъ народнымъ поэтомъ. Но если мы не захотимъ повторять старья, изношенныя слова, то не должны ли мы себя спросить, что же значило для Пушкина сдѣлаться народнымъ? Ужели только наслушаться сказокъ своей няни, заняться собираніемъ народныхъ пѣсенъ, прислушиваться къ народному говору и къ народной рѣчи? Мы думаемъ нѣчто иное. По нашему мнѣнію, это значить прежде всего угадать предназначеніе своей страны родной, понять, что это предназначеніе она можетъ выполнить только оставаясь сама собой, только слѣдуя тѣмъ путемъ, который предначертанъ ея предъидущою исторіею, развивая тѣ начала, которыя заложены въ духъ народа и выразились въ его бытѣ, воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ. И что именно такое проникновеніе бытовыми и историческими началами совершилось въ Пушкинѣ въ 1825 году, доказательствомъ служатъ его послѣдующія произведенія и тѣ идеалы, которые въ нихъ выразились.

Мы знаемъ, что только дважды въ жизни творчество Пушкина принимало такіе величественные размѣры какъ въ 1825 году. Колоссальнымъ его памятникомъ остается Борисъ Годуновъ. Согласно разъ принятому правилу, мы оставляемъ въ покоѣ

истощенную эстетическую критику. Она права, утверждая, что Пушкинъ въ Борисѣ Годуновѣ слѣдовалъ Карамзину; но она не замѣчаетъ, что въ то же время Пушкинъ вносилъ въ свое созданіе идею, которой не было въ оригиналѣ, и вводилъ въ свое произведеніе лицо, которое, будучи совершенно неизвѣстно Карамзину, пріобрѣло у поэта рѣшающее и господствующее значеніе. И Борисъ, и Самозванецъ у Пушкина сознательные преступники. Но одинъ кается въ своемъ преступленіи, кровавою тѣнью оно преслѣдуетъ его во всю жизнь, отравляетъ минуты спокойствія и наслажденія, развѣдаетъ семейное счастье. Черные дни, предсказанные въ Братьяхъ-Разбойникахъ, приходятъ, и—совѣсть просыпается.

И радъ бѣжать, да некуда!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста.

Но рядомъ съ этимъ судомъ Божиимъ идетъ и судъ человѣческій. Напрасно Борисъ тщится быть добрымъ царемъ въ государствѣ, добрымъ отцомъ въ семействѣ:

Богъ насылалъ на землю нашу гладъ;
Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы:
Они-жъ меня, бѣснуйся, проклинали!
Пожарный огонь ихъ дома истребилъ;
Я выстроилъ имъ новыя жилища:
Они-жъ меня пожаромъ упрекали!
Вотъ черни судъ: ищи-жъ ея любви!
Въ семьѣ моей я мнилъ найти отраду,
Я дочь мою мнилъ осчастливить бракомъ;
Какъ буря смерть уноситъ жениха...
И тутъ молва лукаво нарекаетъ
Виновникомъ дочерняго вдовства
Меня, меня, несчастнаго отца!..
Кто ни умретъ—я всѣхъ убійца тайный:
Я ускорилъ Θεодора кончину,
Я отравилъ свою сестру-царицу,
Монахиню смиренную... все я! (II, 70).

Вотъ гдѣ сказался грозный судья Бориса. Но еще грознѣе сказывается онъ въ приговорѣ надъ Самозванцемъ:

Мосальскій.

Кричите: да здравствуетъ царь Дмитрій Іоанновичъ!

Народъ безмолвствуетъ.

Сначала у Пушкина народъ повторялъ это восклицаніе, но потомъ (когда?) онъ передѣлалъ это окончаніе. Въ драматическомъ эффектѣ сцена конечно потеряла, но Пушкинъ не о театрѣ и думалъ. За то въ художественномъ отношеніи вся драма безконечно выиграла. Мы позволяемъ себѣ, однако же, думать, что не одни художественныя соображенія привели Пушкина къ этой перемѣнѣ.

Въ то время, когда въ михайловской глуши онъ переработывалъ въ новые идеалы свои прежнія понятія, воспроизводя образъ Бориса Годунова, углублялся въ тайны нашего историческаго бытія, вдали отъ него жизнь шла своимъ чередомъ по намѣченной колесѣ и пришла прямо къ 14 декабря. Пушкинъ не видѣлъ этого событія своими глазами, но онъ зналъ, что въ этотъ пробный день, въ который наносныя западныя идеи вздумали прикоснуться къ основамъ нашего историческаго бытія, въ этотъ день народъ безмолвствовалъ. Пушкинъ понималъ смыслъ этого событія, понималъ, что безъ народа его судебъ рѣшать нельзя. Позднѣе онъ написалъ: «Молодой человѣкъ! если записки мои попадутся въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній (IV, 250)». Съ этой минуты Пушкинъ уже не будетъ признавать другихъ условій для успѣховъ народнаго благосостоянія, кромѣ основаній историческихъ.

Но отсюда же опредѣляется и идея гражданскаго долга. Долгъ налагается не служебными обязанностями, онъ настаиваетъ на человѣка, имъ вовсе непричастнаго, потому что никто не стоитъ внѣ общества, внѣ народа. Тамъ, гдѣ человѣкъ не подчиненъ внѣшнимъ обязанностямъ, онѣ проистекаютъ изъ самаго факта его рожденія, его принадлежности къ своему народу.

Вотъ почему для Пушкина имѣло такой высокій и важный интересъ опредѣленіе значенія дворянства въ Россіи. Не на крѣпостномъ правѣ, не на служебныхъ отличіяхъ, но на искреннемъ, свободномъ, преданномъ, неподкупномъ служеніи основывалъ онъ это значеніе. Онъ не въ шутку гордился своимъ шестисотлѣтнимъ дворянствомъ. Въ своей родословной онъ видѣлъ, такъ сказать, тѣ корни, которыми онъ вросалъ въ самую глубь народной жизни. Онъ не хотѣлъ быть ничтожнымъ потомкомъ славныхъ предковъ, но изъ ихъ примѣра выводилъ себѣ образецъ и урокъ честнаго служенія отечеству. Дворянство онъ понималъ не какъ право, а какъ обязанность; и онъ служилъ своимъ талантомъ, своимъ трудомъ, всею своею жизнью. Но какъ гражданинъ онъ считалъ себя обязаннымъ принимать участіе въ политической жизни своего отечества. Мысль о политическомъ журналѣ занимала его постоянно и немало трудовъ и усилій потратилъ онъ на ея осуществленіе. Когда же ему не удалось это душевное желаніе, онъ въ своихъ величественныхъ одахъ «Клеветникамъ Россіи, Бородинская годовщина» далъ поэтическій образчикъ своихъ политическихъ взглядовъ. Но поэтическая форма, отвѣчающая высокимъ движеніямъ души, вызваннымъ важными событіями, не пригодна для выраженія всѣхъ оттѣнковъ политической мысли, требующей и точности, и спокойствія выраженія. И вотъ Пушкинъ снова погружался въ исторію, чтобы, по крайней мѣрѣ, тамъ, на почвѣ остывшихъ событій высказать свое гражданское убѣжденіе. Не можемъ здѣсь не возвратиться къ Полтавѣ; ея отрицательную сторону мы уже разсмотрѣли, но съ умысломъ берегли доселѣ сторону идеальную. Она выражается въ Петрѣ.

И гордъ, и ясенъ,
И славы полонъ взоръ его...

но не потому, «что непобѣдимые господа шведы скоро хребетъ свой показали, и отъ нашихъ войскъ вся непріятельская армія весьма опрокинута», но потому, что здѣсь Петръ завоевалъ гражданство своей державы.

Въ гражданствѣ сѣверной державы,
Въ ея воинственной судьбѣ,

Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себѣ (II, 238).

Всегда ли и во всемъ Петръ былъ вѣренъ этому историческому долгу? Досадная помѣха препятствуетъ намъ высказать окончательное сужденіе о взглядѣ Пушкина на Петра, но мы увѣрены, что когда оно сдѣлается возможнымъ, наше положеніе получить только новое подтвержденіе ¹⁾. Теперь мысль Пушкина для насъ опредѣлилась. Долгъ, понятый въ связи съ историческими основами народнаго бытія—вотъ что составитъ идеалъ, которому отнынѣ Пушкинъ будетъ служить.

Но это же приводитъ насъ къ опредѣленію другого идеала, тѣсно связаннаго съ идеею о народѣ—идеала царской власти. Пушкинъ находился не въ одинаковыхъ отношеніяхъ къ императорамъ Александру и Николаю. Мы уже говорили о тѣхъ противорѣчіяхъ, къ которымъ былъ приведенъ императоръ Александръ обстоятельствами, и которыя дѣлаютъ изъ него, можетъ быть, самую трагическую личность XIX столѣтія. Эти противорѣчія Пушкинъ приписывалъ личности императора Александра и во всю жизнь не могъ съ нимъ примириться. Мы не станемъ поднимать намековъ на эти чувства, которые Пушкинъ не разъ проронилъ изъ-подъ своего пера, но обратимъ вниманіе на тотъ фактъ, что личныя чувства Пушкина смолкали каждый разъ, когда передъ нимъ императоръ Александръ являлся какъ лицо историческое. Пушкинъ былъ свидѣтелемъ того великаго и чуднаго момента въ нашей исторіи, когда на минуту исчезло средостѣніе преграды между царемъ и народомъ и они снова стали вмѣстѣ въ общемъ дѣлѣ защиты отечества. Онъ никогда не могъ его забыть и воспоминаніе о немъ всегда вызывало въ Пушкинѣ лирической восторгъ. При мысли о томъ, что онъ (имп. Александръ) взялъ Парижъ, Пушкинъ прощалъ несправое гоненіе.

¹⁾ Оно невозможно, пока не будутъ обнародованы выпущенныя строки въ «Мѣдномъ Всадникѣ», о которомъ по этой именно причинѣ мы и не упоминаемъ. Есть слухъ, что недостающія строки сохранялись въ рукописяхъ поэта, находящихся въ Румянцевскомъ музеѣ и предоставленныхъ въ распоряженіе г. Бартенева.

Свершилось! Русский Царь, достигъ ты славной цѣли! (I, 108)
 восклицалъ онъ пятнадцатилѣтнимъ отрокомъ. Это воспомина-
 ніе посѣтило его въ предсмертную липейскую годовщину,
 и на немъ оборвалась его лебедная пѣснь.

Вы помните: текла за ратью рать,
 Со старшими мы братьями прощались,
 И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,
 Завидуя тому, кто умирать
 Шелъ мимо насъ... И племена сразились.
 Русь обняла кичливаго врага
 И заревоу московскимъ озарились
 Его полкамъ готовые снѣга.
 Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ
 Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался.
 Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался!
 Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ онъ,
 Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы! (III, 434).

Въ повѣсти «Метель», подобно всѣмъ повѣстямъ Бѣлкина, отличающейся высочайшимъ эпическимъ спокойствіемъ, сжатое, чуть не сухое изложеніе вдругъ прерывается при воспоминаніи о 12-мъ годѣ. «Время незабвенное! Время славы и восторга! Какъ сильно билось русское сердце при словѣ отечество! Какъ сладки были слезы свиданія! *Съ какимъ единодушіемъ соединяли мы чувства народной гордости и любви къ государю!*» (IV, 61).

Совсѣмъ въ другія отношенія становится Пушкинъ съ перваго же раза къ императору Николаю. Никто не знаетъ, о чемъ бесѣдовали они въ кремлевскомъ дворцѣ, но мы знаемъ тѣ историческія основы, на которыхъ строились теперь воззрѣнія Пушкина, знаемъ, что возвращеніе къ народнымъ и историческимъ началамъ составляетъ лучшую и важнѣйшую сторону Николаевского царствованія, знаемъ твердый, прямой и благородный характеръ императора и понимаемъ, что Пушкинъ не могъ его не полюбить.

Нѣтъ, я не льстецъ, когда Царю
 Хвалу свободную слагаю;

Я смѣло чувства выражаю,
 Языкомъ сердца говорю.
 Его я просто любилъ:
 Онъ бодро, честно править нами.

.
 Во мнѣ почтилъ онъ вдохновеніе,
 Освободилъ онъ мысль мою,
 И я-ль, въ сердечномъ умиленіи,
 Ему хвалы не воспую?

.
 Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ
 Одни приближены къ престолу,
 А небомъ избранный пѣвецъ
 Молчитъ, потупя очи долу (II, 177).

Въ императорѣ Николаѣ онъ видѣлъ осуществленіе того идеала царя, который былъ выработанъ его сознаніемъ; и это сознаніе онъ считалъ не своимъ только личнымъ, но, какъ оно и на самомъ дѣлѣ было, общенароднымъ, только въ немъ находившимъ своего представителя и выразителя. Бывали недоразумѣнія и размолвки. Императоръ Николай имѣлъ одинъ недостатокъ—это тотъ избытокъ благородства, который даже у заклятыхъ враговъ исторгнулъ ему наименованіе рыцаря. Находились люди, которые злоупотребляли этой чертою характера, и Пушкину было больно, когда между имъ и царемъ становились люди, которые всего менѣе отвѣчали его идеаламъ. Но Пушкинъ никогда не измѣнилъ своему чувству любви, и вѣра его была оправдана, когда онъ зналъ, что въ поздній полуночный часъ царь не спитъ, ожидая извѣстій о его болѣзни, когда онъ держалъ въ рукахъ собственноручную записку царя, начинавшуюся словами: любезный другъ, Александръ Сергѣевичъ. Въ эту минуту онъ могъ пожалѣть, что умираетъ, но онъ умеръ все таки утѣшенный. Этими личными отношеніями однако же не исчерпывается вся полнота пушкинской идеи. Комментаріомъ ея является Гоголь. Извѣстно, какая духовная связь соединяла его съ Пушкинымъ. И вотъ Гоголь приводитъ намъ сужденіе Пушкина о самодержавной власти. «Зачѣмъ нужно,»—говорилъ онъ,—«чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже выше

самаго закона? Затѣмъ, что законъ—дерево; въ законѣ слышать человѣкъ что-то жестокое и небратское. Съ однимъ буквальныймъ исполненіемъ закона далеко не уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ: для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномощной власти» (Полное собраніе сочиненій Гоголя. Четвертое изданіе его наслѣдниковъ. Москва, 1880. IV, 600). Если слова Гоголя требуютъ оправданія, то мы надѣемся найти его въ произведеніяхъ Пушкина. Эстетическіе критики истратили все свое остроуміе, рѣшая вопросъ: почему Пушкину вздумалось переложить въ эпическую форму шекспировскую драму: Мѣра за мѣру. Но что не эстетическіе вопросы руководили Пушкинымъ, въ этомъ достаточно убѣждаетъ самое содержаніе разсказа. Лицемѣрный, но безпощадный блюститель закона, Анджело, противопоставляется снисходительному, но великодушному Дуку. И въ заключительныхъ словахъ повѣсти:

И Дукъ его простилъ (III, 410)

и заключается весь смыслъ этого произведенія. Можетъ быть даже онъ имѣлъ у Пушкина какое-нибудь дѣйствительное примѣненіе—пока мы этого еще не знаемъ, но здѣсь кстати вспомнить слѣдующія слова Гоголя: «Какъ Пушкинъ весь оживлялся и вспыхивалъ, когда дѣло шло къ тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника, или подать руку падшему! Какъ ожидалъ онъ первой минуты царскаго благоволенія къ нему, чтобы заикнуться не о себѣ, а о другомъ упавшемъ, несчастномъ» (Ibid. 609).

И что такое возрѣніе Пушкинъ считалъ не своимъ только личнымъ, но и народнымъ, Пушкинъ выразилъ въ слѣдующемъ характеристическомъ письмѣ. Богатый и сильный помѣщикъ Кирила Петровичъ Троекуровъ насиліемъ и неправдою отнялъ имѣніе у своего сосѣда Дубровскаго. Сынъ Дубровскаго, Владиміръ, служитъ въ гвардіи, и вотъ, вѣрная раба нянька Арина Егоровна Бузырева пишетъ ему въ Петербургъ: «Слышно, земскій судъ къ намъ ѣдетъ отдать насъ подъ началъ Кирилу Петровичу Троекурову—потому что мы дескать ихніе, а мы

искони ваши—и отъ роду того не слыхивано. Ты бы могъ, живя въ Петербургѣ, доложить о томъ Царю-Батюшкѣ, а онъ бы не далъ насъ въ обиду» (IV, 142). Но полного своего выраженья эта идея достигаетъ въ изумительной, какъ бы изъ мрамора изваянной, спенѣ между Маріей Ивановной и императрицею Екатериною въ Капитанской Дочкѣ (IV, 323—4). Оглядываясь съ этой точки на поэзію Пушкина, мы поймемъ тотъ живой нервъ, который черезъ нее проходитъ:

Душой будь прашуру подобенъ
И памятью, какъ онъ, незлобенъ,

писалъ онъ въ первыхъ стансахъ императору Николаю.

Нѣтъ, братья, лстецъ лукавъ,
Онъ горе на царя накличетъ,
Изъ всѣхъ его державныхъ правъ
Одну онъ милость ограничить.

Вспомнимъ изумительно глубокое стихотвореніе «Истина» и случай, его вызвавшій:

Оставь герою сердце! Что же
Онъ будетъ безъ него? Тиранъ!

Вспомнимъ стихотвореніе къ Н***:

Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ,

Тучу, Пиръ Петра Великаго и наконецъ эти слова въ Памятникѣ:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
И милость къ падшимъ призывалъ.

Такъ дорисовывается передъ нами пушкинскій идеалъ политическаго устройства. Свободная преданность долгу внизу, правосудное, но милосердное могущество наверху.

Обращаемся теперь къ важнѣйшей сторонѣ Пушкинскихъ воззрѣній—къ его религіознымъ убѣжденіямъ. Г. Анненковъ говоритъ, что религіозное направленіе начинается проявляться у Пушкина особенно съ 1833 года (М. 378). Но мы скажемъ, что съ этого времени пришла очередь этому настроенію проявиться въ литературной дѣятельности Пушкина, а не въ немъ

самомъ. Что глубже лежало, то позже и всплыло. Напротивъ, слѣды религіозныхъ интересовъ мы найдемъ неизмѣримо раньше. Что Пушкинъ ихъ долго вынашивалъ, это неудивительно: если для обработки лирическаго стихотворенія девять лѣтъ не казались ему долгимъ срокомъ, то для проявленія столь важнаго направленія и еще болѣе отдаленные сроки не покажутся долгими. Мы положительно знаемъ, что еще въ Одессѣ и Кишиневѣ Пушкинъ читалъ Библию, и что это чтеніе бывало ему по сердцу. Но мы знаемъ, какая буря страстей тогда еще имъ владѣла; быть можетъ, онъ искалъ въ Библии защиты и отъ Демона, и отъ Гунчисона, но пока они были сильнѣе его. Воспользуемся еще разъ свидѣтельствомъ Мицкевича, относящимся къ эпохѣ вслѣдъ за созданіемъ Бориса Годунова: «Въ его разговорахъ, которые становились все болѣе и болѣе серьезными, нерѣдко слышались зачатки его будущихъ твореній. Онъ любилъ разсуждать о высокихъ религіозныхъ и общественныхъ вопросахъ, о которыхъ и не снилось его соотечественникамъ» ¹⁾. Въ Михайловскомъ у Пушкина были Четьи-Минеи, къ которымъ онъ и возвратился впоследствии. Вліяніе дѣйствительно церковно-славянскаго, а не лѣтописнаго языка замѣтно во многихъ мѣстахъ Бориса Годунова, а стихотвореніе Пророкъ до того проникнуто библейскими образами и выраженіями, что его можно назвать столько же славянскимъ, сколько и русскимъ. Въ 1829 году Пушкинъ возвратился съ Кавказа, и вотъ какія мысли привозить оттуда. «Что дѣлать съ черкесами?»—спрашиваетъ Пушкинъ. «Есть средство болѣе сильное, болѣе нравственное, болѣе сообразное съ просвѣщеніемъ нашего вѣка: проповѣданіе Евангелія, но объ этомъ средствѣ Россія донинѣ и не подумала. Терпимость сама по себѣ вещь очень хорошая, но развѣ апостольство съ ней несовмѣстно? Развѣ истина дана намъ для того, чтобы скрывать ее подъ спудомъ? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мракѣ дѣтскихъ заблужденій, и никто еще изъ

¹⁾ W rozmowach jego, które bywały coraz poważniejsze, dawały się spostrzegać zarazem zarody przyszłych jego utworów. Lubił rozbierać wysokie kwestie religijne i społeczne, o których się jego ziomkom i nie sniło.

насъ и не думалъ препоясаться и идти съ миромъ и крестомъ къ бѣднымъ братьямъ, лишеннымъ донинѣ свѣта истиннаго. Такъ ли исполняемъ мы долгъ христіанства? Кто изъ насъ мужъ вѣры и смиренія уподобится святымъ старцамъ, скитающимся по пустынямъ Азіи, Америки и Африки, въ рубищахъ, часто безъ обуви, крова и пищи, но оживленнымъ теплымъ усердіемъ? Какая награда ихъ ожидаетъ?—Обращеніе престарѣлаго рыбака, или странствующаго семейства дикихъ, или мальчика, а затѣмъ нужда, голодъ, мученическая смерть. Кажется для нашей холодной лѣности легче, взамѣнъ слова живаго, вылизывать (?) мертвыя буквы и посылать нѣмыя книги людямъ, незнающимъ грамоты, чѣмъ подвергаться трудамъ и опасностямъ по примѣру древнихъ апостоловъ и новѣйшихъ римско-католическихъ миссіонеровъ. Мы умѣемъ спокойно въ великолѣпныхъ храмахъ блестятъ велерѣчіемъ. Мы читаемъ свѣтскія книги и важно находимъ въ суетныхъ произведеніяхъ выраженія предосудительныя. Предвижу улыбку на многихъ устахъ. Многіе, сближая мои коллекціи стиховъ съ черкесскимъ негодованіемъ, подумаютъ, что не всякій имѣетъ право говорить языкомъ высшей истины. Я не такого мнѣнія. Истина, какъ добро Мольера, тамъ и берется, гдѣ попадаетъ. Кавказъ ожидаетъ христіанскихъ миссіонеровъ.» Эти мысли не замедлили найти и поэтический отголосокъ: ихъ плодомъ осталась недоконченная поэма Галубъ, вѣрнѣе, Тацитъ. Сама по себѣ поэма еще не говоритъ о той мысли, которой она должна была служить выраженіемъ. Но сохранились двѣ программы: въ первой останавливаетъ вниманіе два раза встрѣчающееся и оба раза подчеркнутое слово *монахъ*. Вторая, по которой и написано начало поэмы, уже яснѣе опредѣляетъ значеніе монаха. Вотъ она: «1) Похороны. 2) Черкесь-христіанинъ. 3) Купецъ. 4) Рабъ. 5) Убійца. 6) Изгнаніе. 7) Любовь. 8) Сватовство. 9) Отказъ. 10) Миссіонеръ. 11) Война. 12) Сраженіе. 13) Смерть. 14) Эпилогъ» (П, 430). Очевидно Пушкинъ хотѣлъ въ ней развитъ мысль, выраженную раньше. Какая награда ихъ ожидаетъ? Обращеніе престарѣлаго рыбака или странствующаго семейства дикихъ, или мальчика, а затѣмъ нужда, голодъ, мученическая смерть...

Поэма осталась недоконченною, потому что дѣйствительность не давала потребныхъ матеріаловъ, а фантазировать Пушкинъ не любилъ, да и не умѣлъ. Идея поэмы, однако же, ясна—гибель перваго послѣдователя новыхъ идей. Будемъ слѣдить по стихотвореніямъ Пушкина за образами, которые господствуютъ въ его воображеніи. Пушкинъ видитъ монастырь на Казбекѣ:

Туда бѣ въ заоблачную келью
Въ сосѣдство Бога скрыться мнѣ!.. (II, 268).

Онъ приходитъ въ царскосельскіе сады:

Воспоминаньями смущенный,
Исполненъ сладкою тоской,
Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный
Вхожу съ поникшею главой!
Такъ отрокъ Библии—безумный расточитель,
До капли истощивъ раскаянья фіалъ,
Увидѣвъ наконецъ родимую обитель,
Главой поникъ —и зарыдалъ! (II, 274).

Въ 30 году онъ пишетъ митрополиту Филарету:

Въ часы забавъ иль праздной скуки,
Бывало, лирѣ я моей
Ввѣрялъ изнѣженные звуки
Безумства, лѣни и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звонъ я прерывалъ,
Когда твой голосъ величавый
Меня внезапно поражалъ.
Я лилъ потоки слезъ неожиданныхъ,
И ранахъ совѣсти моей
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елей.
И нынѣ съ высоты духовной
Мнѣ руку простираешь ты.
И силой кроткой и любовной
Смираешь буйныя мечты.
Твоимъ огнемъ душа палима
Отвергла блескъ земныхъ суетъ
И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ (II, 288).

32 годъ полонъ образами изъ западныхъ религіозныхъ преданій, таковы: Начало повѣсти, Юдиѣ, Родригъ, Романсъ: Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный, Подражаніе Данту... Здѣсь Пушкинъ ищетъ исхода своему настроенію еще внѣ себя, въ образахъ чуждыхъ, заимствованныхъ. Но настроеніе охватываетъ его глубже и сильнѣе. Этотъ переходъ мы видимъ въ 33 году. Вслѣдъ за переводомъ изъ Буньяна (Странникъ. III, 325) идетъ стихотвореніе оригинальное (?) и очевидно выражающее личную мысль поэта:

Напрасно я бѣгу къ сіонскимъ высотамъ,
Грѣхъ алчный гонится за мною по пятамъ;
Такъ, ревомъ яростнымъ пустыню оглашая,
Взметая гривой пыль, и гриву потрясая,
И ноздри пыльные уткнувъ въ песокъ зыбучій,
Голодный левъ слѣдитъ оленя бѣгъ пахучій (III. 326).

Изъ двухъ стихотвореній 34 года одно: Къ Н*** полно библейскихъ образовъ, другое: Мицкевичъ запечатлѣно библейскимъ характеромъ. Наконецъ 36 годъ даетъ намъ стихотворенія:

Когда великое свершалось торжество
И въ мукахъ на крестѣ кончалось Божество...

Подражаніе итальянскому: Какъ съ древа сорвался предатель ученикъ,—и наконецъ этотъ рядъ заключается 22-го іюля, ровно за полгода до смерти стихотвореніемъ:

М о л и т в а.

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтобъ сердцемъ возлетать во области заочны,
Чтобъ укрѣплять его средь дольнихъ бурь и битвъ,
Сложили множество божественныхъ молитвъ;
Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ,
Какъ та, которую священникъ повторяетъ
Во дни печальные великаго поста;
Всѣхъ чаще мнѣ она приходитъ на уста—
И падшаго свѣжить невѣдомою силой.
Владыка дней моихъ! духъ праздности унылой,

Любоначалія, змѣи сокрытой сей,
 И празднословія не дай душѣ мсей;
 Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, прегрѣшенья,
 Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья;
 И духъ смиренія, терпѣнія, любви,
 И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи.

Но все это, такъ сказать, только пробы пера въ сравненіи съ тѣми широкими замыслами, которые питалъ поэтъ. Католичество, реформація, изобрѣтеніе пороха, книгопечатанія, должны были переплестись въ какую-то загадочную драму и послужить основою для рѣшенія какого-то неизвѣстнаго, важнаго, но несомнѣнно церковно-религіознаго вопроса. Только неясные осколки подъ произвольнымъ названіемъ: «Сцены изъ рыцарскихъ временъ» остались отъ этого глубокаго замысла. Для насъ достаточно и этого, чтобы знать, чѣмъ была занята, куда стремилась мысль поэта въ послѣдніе годы его дѣятельности. Но мы знаемъ, что каждое литературное намѣреніе Пушкина имѣло долгую подготовительную работу въ жизни и въ черновыхъ его бумагахъ. И на этотъ разъ онъ не обманываетъ нашихъ ожиданій. Друзья поэта свидѣлствуютъ, что въ послѣднее время онъ находилъ неистощимое наслажденіе въ чтеніи Евангелія, и многія молитвы, казавшіяся ему наиболѣе исполненными высокой поэзіи, заучивалъ наизусть. Что касается молитвъ, мы уже видѣли плоды этого заучиванья. Но вотъ печатный отзывъ Пушкина о Евангеліи: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповѣдано во всѣхъ концахъ земли, примѣнено ко всевозможнымъ обстоятельствамъ жизни и происшествіямъ міра; изъ коей нельзя повторить ни единого выраженія, котораго не знали бы всѣ наизусть, которое не было бы уже пословицею народовъ; она не заключаетъ уже для насъ ничего неизвѣстнаго; но книга сія называется Евангеліемъ — и такова ея вѣчно новая прелесть, что если мы, пресыщенные міромъ, или удрученные уныніемъ, случайно откроемъ ее, то уже не въ силахъ противиться ея сладостному увлеченію, и погружаемся духомъ въ ея божественное краснорѣчіе!» (V, 421).

Черновыя тетради его наполнены выписками изъ Четьихъ-Миней и Пролога. Въ 35 году онъ помогаетъ и совѣтомъ, и дѣломъ своему товарищу князю Эристову въ составленіи историческаго словаря о святыхъ, прославленныхъ въ російской церкви, дѣлаетъ о немъ, по выходѣ въ свѣтъ, печатный отзывъ, наконецъ самъ перелагаетъ на простой языкъ, понятный всякому человѣку, даже мало искушенному въ грамотѣ, повѣствованіе Пролога о житіи преподобнаго Саввы игумена. Записка эта сохраняется въ его бумагахъ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «Декабря 3-го, преставленіе преподобнаго отца нашего Саввы, игумена святыхъ обители Пресвятой Богородицы, что на Сторожехъ, новаго чудотворца (изъ Пролога). Мы приводимъ слова г. Анненкова, потому что самое сказаніе, къ сожалѣнію и удивленію, до сихъ поръ не напечатано.

Но если только въ послѣдніе годы жизни Пушкинъ сталъ проникаться церковностію, то вопросъ о значеніи церкви въ Россіи занималъ его неизмѣримо раньше. Вотъ что писалъ онъ въ 1822 году. «Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тѣмъ своему неограниченному властолюбію и угождая духу времени. Но, лишивъ его независимаго состоянія и ограничивъ монастырскіе доходы, она нанесла сильный ударъ просвѣщенію народному. Семинаріи пришли въ совершенный упадокъ. Многія деревни нуждаются въ священникахъ. Бѣдность и невѣжество этихъ людей, необходимыхъ въ государствѣ, ихъ унижаетъ и отнимаетъ у нихъ самую возможность заниматься важною своею должностію. Отъ сего и происходитъ въ нашемъ народѣ презрѣніе къ попамъ и равнодушіе къ отечественной религіи, ибо напрасно почитаютъ русскихъ суевѣрными: можетъ быть, нигдѣ болѣе, какъ между нашимъ простымъ народомъ, не слышно насмѣшекъ на счетъ всего церковнаго. Жаль! ибо греческое вѣроисповѣданіе, отдѣльное отъ всѣхъ прочихъ, даетъ намъ особенный національный характеръ.»

«Въ Россіи вліяніе духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно въ земляхъ римско-католическихъ. Тамъ оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое отъ гражданскихъ законовъ, и вѣчно полагало

суевѣрныя преграды просвѣщенію. У насъ, напротивъ, завися, какъ и всѣ прочія состоянія, отъ единой власти, но огражденное святыней религіи, оно всегда было посредникомъ между народомъ и государемъ, какъ между человекомъ и божествомъ. Мы обязаны монахамъ нашею исторіею, слѣдственно и просвѣщеніемъ. Екатерина знала все это—и имѣла свои виды.» Мы не остановимъ вниманія на рѣзкости сужденія: это были черновыя, домашнія замѣтки про себя. Не коснемся и политической стороны дѣла. Но сужденіе о значеніи церкви для нашего просвѣщенія, и особенно мысль о томъ, что православіе есть основа нашего національнаго характера, нашей народности, достойны особеннаго замѣчанія. Правда, г. Анненковъ говоритъ, что члены литературнаго общества Арзамасъ, къ которому принадлежалъ и Пушкинъ, отличались непоколебимой «вѣрой въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательства — монархизма и православія съ свободой лицъ, сословіи и учрежденій» ¹⁾, и приведенное мнѣніе Пушкина считаетъ отголоскомъ этихъ арзамасскихъ ученій. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, на чемъ основано это показаніе. Но, какъ бы то ни было, мысли были заронены и въ свое время принесли бы плодъ.

Намъ остается подвести итогъ ко всему сказанному.

Пушкинъ умеръ не только въ цвѣтѣ лѣтъ, не только въ полной силѣ таланта, но, можно смѣло сказать, какъ ни велики оставшіяся намъ отъ него произведенія, онъ умеръ только приготовляясь къ еще высшимъ созданіямъ, въ которыхъ въ величественныхъ размѣрахъ, во всей полнотѣ и ясности выразились бы его идеалы. Этимъ произведеніямъ не суждено было осуществиться, но и то, что осталось намъ отъ великаго поэта, достаточно ясно показываетъ, какъ понималъ онъ заветныя вѣрованія русскаго народа. Семья, общество, жизнь наложили на его свѣтлую, чистую душу свой рисунокъ беззаконный, но силою упорнаго труда, могучею дѣятельностью своего духа онъ сбросилъ ветхую чешую чуждыхъ красокъ и блеснулъ красотой первоначальныхъ, чистыхъ видѣній въ со-

¹⁾ Анненковъ: Пушкинъ, 114.

зданіяхъ своего генія. Цѣной глубокаго раскаянія и горькихъ слезъ искупилъ онъ заблужденія своей юности, и выйдя на царскій путь, куда звало его Божье велѣнье, онъ въ дивныхъ поэтическихъ глаголахъ высказалъ завѣтныя вѣрованія русскаго народа, его глубокую привязанность къ своимъ вѣковымъ учрежденіямъ, его высокую вѣру въ идеалъ царя, отмстителя неправдамъ, защитника угнетеннымъ, милосердаго къ падшимъ. Онъ выразилъ свое убѣжденіе въ значеніе православія, какъ отличительной черты нашей національности. Онъ вѣрилъ въ высокое историческое предназначеніе страны своей родной, онъ честно и нелицемѣрно принесть ей на служеніе свой талантъ, свои силы, свой трудъ. Онъ призывалъ милость къ падшимъ, онъ пробуждалъ добрыя чувства; всегда правдивый, независимый, онъ имѣлъ право сказать о своихъ стихахъ:

И неподкупный голосъ мой
 Былъ эхо русскаго народа (I, 226).

Вотъ почему и русскій народъ найдетъ и всегда будетъ находить въ поэзіи Пушкина свободное выраженіе своихъ думъ, чаяній, упованій, и на ней воспитываемый, ею вдохновляемый, будетъ въ надеждѣ славы и добра безъ боязни глядѣть впередъ и идти навстрѣчу будущему во исполненіе своего историческаго призванія. ?





PG
33.56
N4

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--

